



ГЛЕБ ГОРЫШИН

СИНЕЕ  
ОКО



ГЛЕБ  
ГОРЫШИН

**СИНЕЕ  
ОКО**

ПОВЕСТЬ И  
РАССКАЗЫ

Л Е Н И З Д А Т

1963

**Я** нарушил сроки охоты. В сентябре убил глухаря. Он и песню свою не спел ни разу, скрипун-первогодок. Едва поднялся на крыло, большой, чернопёрый...

Сложил и вытянул длинный хвостище, плавно прошёл в вершинах и сел.

У меня не достало спокойствия уложить глухаря в мешок. Я припас — на случай трофея — авоську, так и до дому доехал, с глухарем на виду, на ремне. Мне было двадцать лет. Я не мог спрятать большую птицу, убитую мной.

В Ленинграде, на Московском вокзале, груболицый и твердый мужчина потребовал мой охотничий билет. Потом меня вызвали в общество, штрафа не взяли, только сказали презрительно: «Не охотник ты, кила».

А всё началось со Степиных собак. Есть такой человек на Носке — Степа Кряквин.

Помянул о Носке, не могу, оторвусь от рассказа. Сил нет не умилиться при самом этом звуке: Носок. Есть такое место, твердь земная, кряж, мыс отделяет Оять от Свири. Торчком вдался в ровную низкую воду. Свирский обрыв — изжелта-белый, замытый и жесткий песчаник. К Ояти — покатым берег, его обжили, избы стоят, березы посажены вдоль порядка, большие, лет по семьдесят каждой.



Степе Кряквину как раз в ту пору было полста. Детей он поднял, уехали в Ленинград учиться. Степа жену поменял.

Охоту совсем запустил. Псы отбились от лесу. Корму-то им всегда хватало в Стенином доме.

Тогда еще лосось ловился в Свирском устье, в Загубье, в Лисьей. Форель. Судака Степа по ол, разве для навару клал в котел, чтобы картошка варилась не в голой воде — в бульоне. Потом сливал бульон на землю, вареного судака кидал псам. Картошка становилась медовой на цвет от судачьего навару. Степа круто ее солил и прикусывал лук.

Он был начальник рыболовецкой артели лесного облурса — Степан Игнатьевич Кряквин. Всю жизнь занимался рыбачеством; когда лосось приедался, налимя печенка шла в уху; корюшку коптил в собственной дымокурне. Был поэтому налит тугой забуревшей могучестью.

Нюрка вначале стала мне как подружка, ровесница ведь. Степы она дичилась, а со мной любила чай распивать, с пирогами. Весной мы с ней подружились, я еще тогда гуся сшиб на пролете. А в сентябре приехал, шел пешком со станции Оять... Дошел наконец. Сел на Степино крылечко, думаю, пусть Нюрка выйдет ко мне. Подружка... Она сунулась к окошку, еще не знала, кто, а как узнала, дверью прихлопнула и, слышу, ворчит: «Шляются тут оборванцы». Брючата я надел на охоту самые что ни есть никуда не годные.

Я было присмирел, оскорбился, но сказал себе: подожди, парень, ничего, подожди! И пересидел

Нюркино хозяйское пренебрежение. Поел пирогов с лососинкой. В свое время.

Степа вернулся из Загубья, с рыбалки, поздно, пошел в баньку. Нюрка пошла его проводить с фонарем. Так сказала: «Провожу». Однако не возвратилась. Я их не дождался, заснул.

Утром свистнул гончара Рекса, тот поглядел на меня медленно, сыто, — здоровый, черно-рыжий кобель. Счел нужным пойти со мной на охоту. Всё-таки у человека ружье.

Дворняга Шанхай, тоже Степин пес, прыгал, повизгивал, очень хотелось ему вместе с нами. Всё пытался уши поставить стоймя, правое еще подымалось, с левым было совсем дело плохо. Пришлось привязать пса веревкой к забору, не брать же дворнягу в лес.

Рекс потрусил рядом со мной, в лесу ткнулся носом в брусничник, порыскал, чихнул, потряс башкой и взглянул: вижу ли я его усердие. «Вперед, Рекс! — приказал я. — Искать!»

Рекс полакал воды из-под кочки, задрал лапу на первую сосну леса и на вторую. Убежал подальше от меня, вроде как увлекся в доборе. Я уже было поверил, но вдруг чвякнуло что-то тут же, рядом совсем. Гляжу, посреди ольхового подроста крадется пес, а сам на меня смотрит. Переглянулись — он потупился, боком, боком, заспешил прочь с глаз.

Скоро опять появился, и уже не отбивался от моих ног. Было видно, не хочется псу шастать по лесу в одиночку. «Ищи! — рывкнул я. — Вперед!» Еще кое-что добавил.

На вересковой прогалине я выстрелил по тетере. Не очень я рассчитывал попасть: слетела она далеко. Подумал: «Выстрел подействует на пса. На гончих это действует. Азарт охотничий проснется». Пальнул. Пес вздрогнул. Опять пошел от меня боком. Всё припадал к земле, косился и хвост припрятал. Было видно: хочется припустить всю — и страшно. До самой опушки так маялся. Чуть скрылся от меня в ельнике, было слышно: галопом пес поскакал.

Степа сказал вечером:

— Так-то он ничего, ну, видишь сам, какая мне теперь охота? С ними ведь заниматься нужно... А так... Это всё напрасно. Ты с Жучкой попробуй. Она птицу хорошо лаяла.

Я не понял, что мешает самому Степе ходить на охоту, но спрашивать не стал: ему пятьдесят, а мне двадцать. Значит, есть причина.

Жучка не пошла со мной в лес. На меня она не смотрела вовсе, хольная, чистобрюхая лаечка. Потянулась, крылечко шерсткой помела. Глаза зеленые, и ушки сторожко стоят. Себе на уме собачка.

Я ей совал в нос кусок пирога с форелью, сам пятился спиной к лесу. Жучка не шла и за пирогом. Я свистел, хлопал себя руками по худым штанинам, чмокал. Жучка всё поворачивалась ко мне хвостом. Хорош был хвостик, тугая огнистая дужка.

«Ладно, — подумал я, — сейчас выстрелю — инстинкт проснется. Всё же это не Рекс. Лайки все прирожденные охотники». Отошел на задворки, стрельнул в поле. Нюрка мелькнула в окошке:

— Ты что, по курям? Большой, а ума, что у корюшки.

Жучка не оглянулась на выстрел: кота наблюдала, как он идет по двору, хвост стоймя, самый кончик вихляется при каждом шаге. По-охотничьи за котом следила, весь инстинкт, видно, на это потратила.

Тогда я решил действовать иначе. Первым делом привязал Шанхая к забору. Глаза у него были преданные, как это говорится, собачьи. Он кидался ко мне, веревка держала пса, передние лапы отрывались от земли. Пес сучил лапами, вытягивал шею и тявкал. Он хотел со мной в лес. Но мне было плевать на этого пса. Мне нужно было охотничать с лайкой. Пора мне было поохотничать всерьез. Я подхватил Жучку на руки и пошел с ней в лес.

Она была тяжелая собака. Я думал: «Ничего. Ничего. Сейчас мы дойдем. Я ее пушу. Она почует птицу и начнет работать. Чутье не могло потерять-ся. Азарт и всё такое. Сейчас она всё поймет».

Сначала я шел по тропинке. Свернул на длинное болото. Тут я вспотел: в собаке было верных полпуда, а идти вязко. Да еще ружье.

За болотом началась ольховая заросль, березняк, ивовый прут всё оплел, черемушник — ух! густо! Как я там лез со своей собакой? Прижал ее к ватнику, скомкал всю, будто она не живая собака, а, скажем, лису я добыл и тащу напролом, ног не чувю. Иначе было нельзя.

Собака визжала, рвалась, хвост ее лаечный распрямился. Но я удержал. До настоящего лесу не доберешься иначе, как через эту чащобу.

Я пустил Жучку, едва завидел первые сосны бора. Она не посмотрела на меня, завила хвостик в колечко и побежала домой.

Вечером Нюрка сказала мне:

— Пойдем завтра в бруснику. А то с охотой твоей больше сапогов стопчешь.

Нюрке не с кем было ходить в бруснику. Бабы ее сторонились. Лукинична, старая Степина жена, осталась в деревне, бруснику она брать горазда... О Нюрке плохо говорит. А бабы, конечно, ее сторону принимают.

— Завтра пойду за утками, — сказал я Нюрке. — Псы у вас зажрались. Их бы в хорошие руки.

— А! — сказала Нюрка. — Топить их некому, этих псов. Толку-то с них...

Деньки тогда стояли сыренькие, со студеным туманцем, и вдруг прорезался синий день. Бывают такие только в сентябре. По вереску паутина, капли остались с ночи, в каждой синее, рыжее солнце. Лучики колко выстреливают из капель, дрожат. Брусничины заиндевели в росе. Березки кое-где сомлели, слиняли. Ранняя, светлая ржа прошла по зеленому лесу. И всё-то видно вокруг.

Я решил по старицам пройти. В каждой, поди, по выводку держится. Шанхай увязался со мной. Я не стал его сажать на веревку. Может, какого подранка в тресте отыщет.

Пес начал нюхать землю сразу за огородом. На меня не глядел, только рыскал и нюхал. Откуда в дворняге охотничье рвение? Может, заезжий крапчатый лаверрак встрял ему в родословную? Теперь вот расплачивайся за грех. Звериные запа-





хи леса томят, а охоты всё нету и нету. «Шанхай! — кричал я. — Назад! Ко мне!» Не было никакой нужды кричать эти слова. Утро выросло такое ясное, и так мне дышалось, что идти молча я не мог.

Шанхай будто понимал это. Он не слушал меня, уносился далеко, вынюхивал кочки, багульник, хвою и мох. Он перепрыгивал через коряги. Он вывалил нежный шершавый язык. Шкура будто вся обтянулась на ребрах. Он был неистов, Шанхай. Выбегал ко мне, взглядывал быстро и виновато, будто хотел заверить меня: сейчас, сейчас разыщу, поверь мне, сейчас... И опять уносился.

Я позабыл про утиные выводки. Я был молодой охотник. Ни разу еще не было у меня своей собаки. Конечно, слышал, как вязко может ходить за зайцем гончар, как спаниель выловит подбитого саука в ноябрьской воде и в руки подаст. Никто мне не рассказал ни разу, как стала ему собака добрым приятелем, ухом и глазом в лесу. Может быть, не случалось такого с моими знакомцами, а может, об этом не рассказать.

В лесу, на охоте, я всегда видел только самые ближние елки. Весь бывал настроженный, всё казалось, вот сейчас, именно в этих елках объявится заяц или глухарь, или хотя заваливший рябец. Кроме ближних елок, для меня ничего и не было в лесу. Лес раскрывался скупно, по дереву, по полянке, по просечке.

А теперь всё вдруг стало иначе в лесу. Просторно. Я не осторожничал с елками. Их все обшарил Шанхай. В них не было зайцев и рябчиков. Я ви-

дел высокое сентябрьское небо и сосны. Сел на валежину, и Шанхай, прибежав, ткнулся мне в колени. Я сказал ему: «Ну что, брат?» Он дернул головой, дескать, сейчас. Он стоял возле меня, а сам всё вздрагивал и косился глазом на лес: не весь ведь еще обшарен.

...Глухарь слетел и шарахнул крыльями по сосновой хвое. Это я услышал вначале. И сразу залаял Шанхай. Лай был редкий, внезапно охрипший от волнения. Я побежал на звук и скоро увидел птицу. Глухарь пролетел немного, уселся на сук, и уже не казался таким огромным, как влёт. Он крутил головой, прицеливался клювом и глядел на Шанхая.

Первогодку был так интересен лающий зверь, что меня, человека, он совсем не заметил.

Шанхай тянулся к птице, он встал на задние лапы, а передними царапал сосну. Он целил в птицу носом и тявкал. Но не так он был прост, этот пес. Он знал, что ему не достать глухаря, не свалить его лаем. Он тявкал, а сам взглядывал на меня, приглашая: «Ну же!» Где он этому научился? Может быть, еще и зверовая лайка попалась ему в родословную?

Я нарушил сроки охоты. Не мог я их не нарушить. Глухарь упал после выстрела. Шанхай его нюхал, лизал, будто ласкал, прикусывал самую малость. Он весь дрожал от трепетного восторга.

Потом я повесил птицу себе на ремень. Шанхай побежал и всё тянулся к птице. Вдруг отставал, стоял недвижимый, словно что-то нужно ему сообразить. Задумчивым стал пес. Казалось, не мо-

жет еще понять, что с ним случилось, какое счастье обрушилось на него и как теперь жить дальше. Иногда он прыгал, тихо повизгивал. Опять затихал. Пускался в поиск, но скоро возвращался обратно к птице.

Так мы ходили до ночи. По полянам родился туман. Сова кружила низко и шелестела. Опушки, болота, частинки, низинки, тропинки и бочаги стали все одинаковы. Я заблудился, конечно. Затосковал. В ночь уходил мой поезд. До станции Оять еще четырнадцать километров от Степы. Волгло стало и неприятно.

Пес убежал. Дворняга и есть дворняга. Так я подумал тогда о Шанхае.

Сам тоже всё надавал и не заметил, что бегу. Жутко мне стало в лесу. Весь он будто против меня, лес, живой, зыбится, дышит. Тьма жидкая сверху, а внизу густая, клячьами, клубами, кучами. Расселась повсюду. Плохо. И пес убежал.

Мне-то куда бежать? Всё равно стало. Но шагом нельзя. Это лучше — бежать.

Вдруг — большая вода! Ага! Ух! Теперь-то не пропаду. Свирь. Нужно идти вниз по течению. Утром я шел вверх. А где верх? Где низ? Только видно, что небо светлее воды, и вода возле неба чуть блестит. А может, это не Свирь? Как так не Свирь? Свирь.

Я давно уже позабыл о псе Шанхае. Снял шляпу. Она мне малá, побольше не нашлось в магазине, а нужно было шляпу надеть. Какой охотник без шляпы?

Забрел, как решился, глубоко в воду и пустил

шляпу. Надо же знать течение. Конечно, низ должен быть слева, а справа верх. Шляпа проплыла немного поперек Свири, потом повернула и пошла себе вправо, вверх по течению. Я достал ее, зачерпнул водицы, испил и слушал, как громко валяются капли с подбородка в реку. Теперь я уж вовсе не знал, что делать. Не хотелось мне идти вправо.

...Шанхай появился деловитый, будто по крайней надобности отлучился. Он ткнулся мне в ноги, отбежал и посмотрел, иду ли. Я сказал ему: «Шанхаюшка! Родненький мой песик...» Он еще отбежал, подождал. Я пошел за ним смело и запел песенку.

Степин дом оказался рядом. Всё же влево мне нужно было идти. Чего моей шляпе вздумалось плыть вправо? Может, водоворот?

Дом был заперт, а в баньке светилося окошко. Я не стал в него стучаться. Сапоги стянул, пальцами пошевелил, перемотал портянки и быстро пошел на станцию Оять. Четырнадцать километров. Еще можно поспеть до поезда. Если очень торопиться.

Я шел по песчаной дороге на станцию и думал о том, как приеду опять на Носок. О Степе и Нюрке я не вспоминал. Далась же им эта банька! Ну пусть. Я думал только о Шанхае. Он должен ведь и зайца гонять. «Я приеду, и мы с ним пойдем... За Шоткусу слазаем... На Кандошское озерко...» Ах, как хорошо было думать о псе Шанхае. «Шанхаюшка, — думал я, — собачка...»

И вдруг понял, что он не остался у Степы, бежит со мной вместе. Тайком бежит. Всё понимает.



— Пошел! — крикнул я. — Я т-тебе д-дам!

Пес поотстал.

Я пошел быстрее и шептал:

— Собака! Ах ты моя собака! Ну подожди, подожди. Я же приеду. На всякий случай рычал в темноту:

— А ну вер-р-нись! У-у-у!

Полдороги Шанхай таился, а потом догнал меня и побежал открыто рядом. Наверно, решил, что теперь прогонять его поздно, что Носок далеко позади и хватит терять охотничье время. Нужно лазить по лесу, искать глухаря и вешать его себе на ремень. Что может быть в мире важнее и прекраснее этого? Наверное, он подумал, бедняга, что я и есть единственный человек — Настоящий Охотник. Он бежал со мной по ночной дороге на станцию Оять и готов был бежать еще много ночей...

— А-а-а! — рычал я. — Ты еще здесь, гад? А ну-ка давай отсюда! — Что я мог еще сказать Шанхаю?

Он не послушал меня. Он прибежал со мной к самому поезду. Мурманский поезд стоял здесь одну минуту. Я вскочил на подножку. И Шанхай тоже вскочил. Я взял его на руки. Он был тощий, гораздо легче, чем Жучка. Я стиснул пса и поцеловал его в холодный кирзовый нос. И бросил вниз, на платформу.

Поезд пошел. Шанхай сначала бежал вровень с моим тамбуром. Я глядел на него, и он подымал голову.

Потом он отстал, но было видно, всё бежит собака. Потом к поезду подступил лес.

Кажется, я тогда заплакал, а может, нет. Не помню.

Приехал к Степе только весной. Шел по дороге к Носку и всё улыбался: «Узнает Шанхай?»

— Как Шанхай? — Это первое, что я спросил у Нюрки.

— На свадьбе вон у Полины Радыничей гуляли и застрелили. Жалко, конечно, всё же как свой был. Хорошо, хоть его, а не Рекса, не Жучку. Они хотя породистые, а этот — что? Так только, один вид, что собака.

**У** меня мать осталась жить одна в деревне Даргома за Байкалом, когда я поехал учиться в Ленинград. Я быстро освоился в Ленинграде и даже понял, что многие прирожденные ленинградцы вовсе не умнее меня. Для чего мне было возвращаться за Байкал?

Никаким вирусным гриппом я ни разу не заболел, сопромат и теормех осилил без шпаргалок и без кряхтенья. Играл в баскетбол за сборную института.

Сначала меня избрали в курсовое бюро комсомола, а потом — в факультетское. Я написал об этом моей матери. Она парторгом работает в леспромхозе. Я думал, это важно для нее, что я в бюро. Она мне отвечала: «Молодец. Иван Акимович тоже сначала в институте комсоргом, потом в райкоме вторым секретарем, а теперь уже...»

Сам я редко писал матери. Я бывал постоянно, круглосуточно занят и, стало быть, счастлив, и знал, что это мое счастье состоит в непрерывном действовании, в череде необходимых дел и поступков.

Нельзя сказать, чтобы меня не охватывало иногда уныние без причины. Это тоже случалось со мной. Я вдруг говорил себе: «Ну и что же дальше? Неужели всю жизнь так? Подожди, не торопись. Подумай».

Почему-то всегда вместе с этим приходили мысли о матери. Мать, конечно, всё осилит. Ее жизнь — на людях, в работе. Парторг.

Но ведь одна же она. И я у нее единственный сын. Она меня провожала на станции Петровск-Забайкальский, когда я поехал поступать в институт. Так и осталась тогда одна стоять на платформе.

Я помню, школьник был, смотрел на свою мать по утрам, не вставши с кровати. Она готовила завтрак, и в комнате было свежо с ночи, а мне на постели счастливо и чуть страшно от сознания короткости счастья. Мать двигала сковородки и чугуны в печи, не поворачивалась ко мне, но в то же время она была как бы вместе со мной, с моим новым утром, с моим счастьем нежиться в чистой и теплой постели, с моим днем, с моей учебой, с предстоящим мне в воскресенье походом в тайгу, на охоту.

А на платформе мать осталась совсем одна, и первый раз я вот так подумал о ней: одна. И я заплакал, тоже, может быть, первый раз, потому что я уезжал от нее, меня ожидало новое, радость, а ей возвращаться в Даргому. Плакал я недолго и незаметно для других пассажиров.

Институт я закончил успешно. За Байкал не съездил ни разу, некогда было. Закончил аспирантуру. На работу меня приняли в ЦКБ. Что это значит — ЦКБ, что у меня за работа, я объяснять не буду: нельзя, секретно. Голос у меня стал властный, а суждения энергически точные. Так мне хотелось. Я быстро продвинулся по работе, получил хорошую ставку и однокомнатную квартиру.

О матери я вспоминал теперь еще реже, чем в институте, а вспомнив, стыдился. Особенно стыдно мне бывало с похмелья, скажем, после восьмого марта, когда весь наш отдел веселился до четырех часов ночи.

Это каждому человеку, если он в ночь выпил, смутно на душе поутру и хочется как бы очищения. Я тоже после восьмого марта, то есть девятого утром, собирал все деньги, что находились у меня, бежал в сто сорок восьмое почтовое отделение и отсылал деньги телеграфом в деревню Даргома Читинской области моей матери Раисе Ниловне Прохорцевой. Я заполнял бланк перевода и знал, что всё равно, даже телеграфом деньги придут с опозданием, не успеют к женскому празднику.

Да что матери эти мои деньги?.. А если без денег, просто слова на бланке: «Поздравляю, целую...»? И слова-то с опозданием придут. Нет, уж лучше сто рублей. Что бы ни было, а всё же сто — это деньги. Они не нужны матери, не нужны... Но всё же деньги.

Так вышло и в этот раз. Денег в Даргому я послал девятого марта, похмелье растаяло только к десятому. А там и конец марту пришел.

Весной я чаще вспоминал о нашей деревне и о матери, потому что время идти на охоту, а там сейчас гусь полетел. Было жаль упускать денечки. В апреле слышно, как дни уходят прочь, будто скорые поезда дразнят новыми боками. А тебе оставаться. Только стекляшки окон мимо, мимо, и проблеск от них, как солнцем по живому: чирк! чирк!

Два дня отгула у меня было припасено еще с



января для весенней охоты. Доложился начальству: так и так. Отпустили.

Сел на ранний автобус, шоссейка прохвачена утренником, изморозь шершава, зерниста. А снег дыбится у заборов и слюдяной чешуйкой покрыт. В автобус доносило запах снега. Воздух от утренника холоден, а запах будто теплый. Весна. Я приближал лицо к самому окошку, глотал сочившийся с улицы воздух, он охлаждал мне горло, и от этого была радость.

Шофер всё ловил приемником нужную ему музыку, чтобы она попевала вместе с автобусом: сто километров в час. Чтобы она, как апрельское утро, была колкой и крепкой. А может быть, вовсе и не это было нужно шоферу. Он остановил стрелку приемника на прыгучей джазовой песенке. Таллинское радио.

Навстречу машины с прицепами тес везут — медвяные, смольные плахи. Солнце накаляется близко к земле, а в вышине свет его бледнеет от стужи.

И вдруг посреди ясного начала дня опустился снег, сразу завило, замокрело. А мне еще после автобуса нужно на грузотакси... К вечеру нельзя стало проехать ни одним проселком. Все рейсовые машины остались стоять на автобусной станции. Дождаться вёдреной погоды было нельзя: времени в обрез. Помялся на переезде. Попутных тоже нет. Двинул пешком. Сорок два километра до Круглой Горки, до моих токовищ, до вальдшнепиных пролетов, до крохалей по озерам.

Пуститься в пеший путь при сегодняшней ко-

лесной, машинной жизни казалось мне нелепо, и неохота. А стоило только пойти — и мокрая вьюга уже на пользу. Лицо умывает и прохлаждает.

Речки, ручьи говорят. С машины их не слышать. Берега забелели, и вода стала кромешно-черной, только дно местами оранжево на просвет.

Елки стоят, будто постные монашенки, плечики-ветки опущены. И вдруг: швырк! Ветка — живая, скинула снег, зыбается на свободе.

У сосен умыты бока.

Снегири распушили грудки в снегу. Снег мягонький, молодой.

Снег шурстит, прилегает к земле и гибнет. Воздух парный. Всё сумеречно и живо, всё тужится, будто вздыхает.

Мне идти вначале легко, а потом — ночь, и уже нет снега, всё развезло, насклизло, плохо мне идти. Повалился. Мокреть.

...Первая изба деревни показалась черна, как любой кусок леса. Она выдала себя точно обрезанным параллелограммом крыши. Я пошел к этой первой избе и сел на крылечко.

Было слышно, растворили дверь в сени. Голос хрипатый, не прокашлялся человек после махорки:

— Кого нелегкая носит?

Я сказал вежливо, уверенным, громким тоном:

— Это что за деревня, папаша? Я в Круглую Горку иду.

— Еще семь километров тебе иттить. Если логом пойдешь. Да. А эта не Круглая Горка. Озерешно у нас деревня называется.

Хозяин замолк, но дверь не притворил, постоял

так в темных сенях, наконец нерешительно молвил:  
— Заходите в избу-то. Немалый конец иттить.  
Мне только это и надо.

...В избе радио говорит. Русская печка присади-ста, велика, век ей стоять. Хозяйка руки под передник сунула, глядит на меня и щурится от белого сильного света голой лампочки на шнуре. Заметно, что стоять без дела хозяйке несвучно, поясница не приучена.

Я не помню, какое лицо было у хозяйки, какая у нее кофта и что на ногах: валенки, туфли...

Знаю только: лицо было доброе и внимательное. Кофта на ней была надета не новая. Хозяйка была похожа на других русских женщин, хозяек. Они живут вот в таких избах. Она была похожа на мою мать.

Но так я думаю теперь, спустя время, а тогда мне хотелось сесть и стянуть сапоги и сбросить с ног мокрые портянки и пошевелить босыми пальцами. И еще выпить холодной воды.

Хозяин присел на порожек. Его лицо мне тоже не запомнилось. Одно лишь знаю — лицо было багрово от работы на весеннем припеке, от старости, может быть, также и от выпитого за жизнь зелья. Морщинисто, в седой щетине.

Радио было включено на полную громкость. Оно грохотало: «...Народ Кубы готов с оружием в руках отстоять завоевания революции. Выступая по телевидению в Гаване, премьер-министр Кубинской республики Фидель Кастро сказал: „Мы будем сражаться до последнего патрона, до последнего вздоха. Нельзя победить народ, познавший го-

речь угнетения и чистый воздух свободы. Родина или смерти!”»

Хозяин сказал:

— Да-а-а... Тоже у них там заварушка на Кубе. Фиделю-то Кастро только успевай поворачивайся.

— Может, щец покушаете? — сказала хозяйка. — С дорожки-то? Промялись...

Она всё глядела на меня. Даже когда хлопотала у печки с чайником, оборачивалась ко мне. Пря-тала руки под передник.

— Может, яичко скушаете? Капустки солененькой? Отец, ну-ка слазай в подполье, достань капустки свеженькой.

И опять смотрела.

Радио грохотало:

«...Предсказания великого мечтателя Циолковского осуществились в век освобожденного человеческого разума, в век коммунизма. Впервые в истории человечества совершен полет к звездам. Первооткрывателем космоса стал Юрий Гагарин, человек, воспитанный и окрыленный самыми передовыми в мире идеями...»

— Ему теперь только держись, Юре-то Гагарину, — сказал хозяин. — А как же? Чтобы ни-ни. На него весь мир глядит.

— Вы сахару-то побольше в чай кладите, — сказала хозяйка.

— Да-да... — Это хозяин с порога. — При колхозе-то мы сахарком так только баловались, а теперь, при совхозе — что ты! На зарплате живем.

— Босиком-то сидите, — сказала хозяйка, — ноги остудите. Я вам сейчас валенки принесу.

Всё хотелось ей услужить мне, накормить и при- ветить. Она смотрела на меня, смотрела, будто на- деялась увидеть что, но не могла, и боялась поте- рять свою надежду...

— Я гляжу на тебя, — сказала вдруг хозяйка новым, захолонувшим голосом, — и всё жду, что вот сейчас ты мне откроешься. Сын у нас был вот такой же, как ты, большой. Только рот не такой.

— Да, да, — сказал хозяин, — большой был. Меня был переросши. Ты-то сам студент или в за- воде?

— В заводе.

Хозяйка не слушала этого нашего разговора с ее мужиком. Она переждала и продолжала свое:

— И нос у него такой же... Я знаю, не может этого быть, а всё жду. И глаза у него такие, как вот у тебя. В сорок третьем годочке он ушел с партизанами и больше об нем хоть бы что мы узнали.

Хозяин с порожка:

— Да-да.

— Вот такой же он был бы теперь, как ты. И года такие же. Я гляжу на тебя, и всё из головы моей старой, дурной не выходит: вот сейчас откроешься... — Махнула рукой. Подолом быстро утерла глаза. — Вы еще наливайте. Кушайте.

А как мне было наливать и кушать, если я не уходил с партизанами в сорок третьем и ни в чем не мог открыться матери того парня, который ушел, который был велик ростом и большенос?

Мне приходили на ум всякие несбыточные мыс- ли. «А что, — думал я, — вот сейчас возьму и ска- жу, что я их сын. Конечно, они не поверят. Но дело



же не в этом. Буду им как сын, и всё. Старикам тогда легче будет».

Но я ничего такого не сказал, а только почувствовал, как мала моя усталость и моя гордость от пройденных по распутице километров и моя твердая воля в жизни, по сравнению вот с этой избой, с ее открытой всем добротой и горем.

Радио всё грохотало, но я теперь не разбираю слов. Я думал, сколько вот таких русских изб, таких людей. Они растят хлеб и картошку, они живут и горюют и стареют. Потом уже институты и ЦКБ. Потом. Нельзя быть ни одному институту без хлеба и без картошки.

Я пил чай, забелив его молоком. Спать меня положили на чью-то, главного человека, постель. Она была высока, просторна, простыни холодили тело наглаженной холстиной. В этой постели не спали давно. Спать-то кому? Стариковское ложе — вон оно: деревянная розвальня.

Утром я не слышал, как хозяйева ушли в поле. На столе нашел для себя яйца, молоко и хлеб. Подсунул под стакан две рублевки. Подумал: может, не стоит? Но подсунул. Пусть.

И пошел в Круглую Горку.

Вчерашний снег весь свело солнцем, а солнце еще не высоко, и лучи у него короткие — тающий ободок, и можно глядеть на солнце в упор. Взгорочки распаханы, супесь, глина, торфяник. Липы стоят каменно, черно, а березы — в нежной цыплячьей опушке. Жаворонки сколько б ни трепыхались в небе, а всё же — наземь, наземь, стремглав...



Я шел по раздетой, озябшей, готовой к посеву земле, и вдыхал ее запах и не знал, что мне делать. То есть я знал и дорогу и тока. Но почуять, понять, уместить в себе эту апрельскую землю и зажить с ней заодно необъяснимой и полной жизнью я не мог и потому горевал. Но горесть не тяготила меня. Пахло созревшим кленовым листом, растаявшим снегом и дымом.

...Деревня Круглая Горка раскидана по горбам. От каждой избы набиты крепкие тропы вниз к озерам. Горбы голые, каждая стежка видна, как ручей, а посередине деревни, в березняке церковь с пробитой и ржавой маковкой.

Я сразу пошел к Назаровне, — одна в большой избе живет, бобылка. Мы давно с ней знакомство ведем, с первого моего приезда.

Угостил ее сладеньким вином, для нее специально донес, даже у стариков в Озерешне не расщедрился. Назаровна захмелела, выставила еще свою четвертинку.

Ее мы тоже распили, и тогда Назаровна, женщина скупая на откровенность, вдруг прижала кулаки к груди и горько пожаловалась на свою судьбину:

— Федька-то мой уехаччи в город со своей бабой, ну хоть бы чем мать порадовал. Не надо мне ихних денег, я сама еще, слава богу, могу себя содержать. Изгорода повалилась. Изгороду-то некому поставить. Сын он ведь мне. Перед людьми мне срамно жить. Вырастила помощничка к свсей старости... — И заплакала Назаровна горько. — Изгорода... Изгорода повалилась.

Я взял в сенях ненаточный бабий топор и пошел ставить эту самую изгороду. Хоть пока, до Федьки, пусть постоит.

Я стучал топором, солнце тепло касалось рук, лица, шеи, затылка. Я думал: «Вот завтра схожу на ток и сразу же в Ленинград. Возьму в счет отпуски неделю и махну к матери в Даргому. Ну да...»

В Круглой Горке было тихо, только петухи малоохольно трубили от радости, клювами в небо, да слышался на озере пристук весел и медленный разговор рыбаков, да еще трактора доносились с пашни.

Я бросил стучать топором, слушал чуть внятную жизнь деревни, полей, воды, близкого леса. Я чувствовал счастье и недовольство собой, и надежду, и жалость к моим сослуживцам: они сейчас чертят секретные чертежи в ЦКБ. А что они знают вот об этом дне своей жизни?

А что знаю я?

По вечерам в Тайгутинском леспромхозе — танцы. Баянист знает все новые песни. Особенно ему нравится играть «Тишину». Под нее танцуют танго и вальс — кто что. В зале нелюдно. Парни все во вьетнамских рубашках, что вчера привезли в магазин. Штиблеты у всех хороши, и пряжки красиво блестят на ходу.

Самый первый танцор — Толя маленький. Так его зовут не за рост. Ростом он выше всех в клубе. Но есть еще один Толя. Того называют большим, хотя он одного с маленьким роста.

Маленький глядит на всех весело и смело, будто уверен, что все ему рады — его словам, улыбке. Губы у него пухлые, ласковые, а под глазами мошка накусала, кожа сереет. Когда Толя морщит ее, щурится, взгляд у него взрослый. Толе маленькому восемнадцать лет.

На скамейке у стены сидит Томочка, Толина любовь. Глаза у нее ясные и спокойные, как утренняя вода. Рядом с ней Соня, девочка с тонкими, поднятыми бровями. Она что-то важное шепчет Томочке и невидяще смотрит в зал. Соня с недавнего времени — жена Толи большого.

В зале нет света, кроме оконного, вечернего, подомашнему белеют полы, из углов вырастают потемки. Каждый будто бы дома: кто танцует, кто

ходит или смотрит в окно. И музыка словно сама для себя, не для танцев: «Ти-ши-на...»

Только пьяные не теряют времени зря: спешат танцевать, пошуметь. Пьяных четверо. Все они новички: утром приехали в Тайгутинку по вербовке. «Сегодня наш день...» — так они сказали сами себе. Им сегодня жизнь кажется вскинутой кверху монетой: выпадет решка — значит, всё к счастью, падет орел — можно вскинуть монету еще раз. Всё им кажется легким, возможным сегодня. Какая чалдонская девчонка устоит здесь, посреди чалдонских парней, перед ними, всесторонне развитыми людьми с запада? Так они думают о себе.

Один из пьяных, в двухцветной куртке, сверху белесой, понизу черной, в широко свисающих брюках, подошел к Томочке, встал к ней вполоборота:

— Спляшем...

Томочка глянула на Соню, словно отдала ей поддержку на время танца свое презрительное, возмущенное отношение к этому кавалеру, и поднялась, крепенькая, небольшая, пошла танцевать. Соня взглянула на нее озабоченно. Уже чуть-чуть заметно, что у Сони будет ребенок.

Кавалер повлек Томочку по залу наискось и не в такт. Ноги его несколько подгибались, в широких штанинах проступали коленки. Томочка держалась на расстоянии от кавалера, исполняла ногами всё, что требует правило танца: раз-два-три, раз-два-три... Два шага прямо, один в сторону.

— Это же танго, а вы фокстротом водите, — сказала она кавалеру.

— Всё возможно, — сказал кавалер, запинаясь

на стыке двух половиц. И тут же попытался преодолеть Томочкину самостоятельность в танце, забормотал: — Ну чего ты? Ну давай...

Томочка отстранилась обеими руками:

— Если вы такие пьяные, то можете выйти из клуба.

Руки у Томочки пахнут смолой, как ветки у сосен. Они так же упруги и крепки. Томочка с весны работает в химлесхозе, бродит одна по тайге, собирает смолу из шиферных стопок, прилаженных к сосновым стволам. Ей легко управиться с кавалером.

Он остановился, неуверенно, неохотно забранился и хлестнул Томочку вялой рукой по щеке.

Толя маленький в это время шатался по залу, не танцевал, с кем-то болтал, чему-то счастливо смеялся на весь клуб: ха-ха-ха... И вдруг он смолк. И все четверо ловких в леспромхозе людей, приехавших сегодня утром, потянулись ближе друг к дружке. В сомкнувшейся тишине каждый почувствовал зуд — одним уже знакомый, другим еще непонятный. Все ощутили: быть драке.

Маленький Толя пошел к Томочке. Но мимо, с медным накалом в глазах, рванулся Толя большой. Он был широк необычайно в плечах, в талии, а икры едва помещались в хромовых голенищах.

— Ну, ты чо размахался? — дружески сказал Толя большой Томочкиному кавалеру. — У нас это не полагается. У нас закон — тайга, медведь — прокурор. — Он тихонечко вытеснил кавалера на крыльцо, словно бы вынес, ловко расправился с ним. Но этого не хватило Толе большому. Он взялся

за остальных новичков. Всех побил без пощады. Под курткой у Толи большого морская тельняшка — служил, говорят, на флоте. На запястьях ядовито чернильные наколки — посидел за что-то в тюрьме. Чего бояться такому человеку? Кто ему указ? Какие ему преграды?

Толя маленький всё пытался сунуться в драку, мешал своему большому другу. Тот сказал ему злобно:

— Не лезь, Толик, сам сделаю. — И даже занес на него кулак.

Но маленький лез. Щеки его горели. Не мог он стоять в стороне, не мог сравняться с другом бойцовской хваткой, томился этим, ревновал и лез.

Все весело и азартно глядели на побоище. Всем по душе Толя большой. Все признавали его превосходство и тайно благоговели. На крылечке поодаль стояла его жена Соня. На ее маленьком бледном лице восторг, преданность. Вся она подалась вперед, ближе к драке. Ее детские, потрескавшиеся губы раскрылись и что-то влажно шептали в счастливой тревоге.

Утром над Тайгутинкой брякают позывные иркутской радиостанции, выводят древний мотив. Он вобрал в себя самую суть сибиряцкой жизни: тоску глухотных пространств, побеждаемую надеждой, движением к свету, к людям. «Славное море, священный Байкал...» Позывные дают тон всему дню, словно это звуки огромного камертона в руках у мудрого, вдохновенного побудчика.



День начинается в трудах, в трудах же он и погаснет. Первыми отправляются в тайгу изыскатели. Они гонят трассы будущих лесовозных дорог, метят их просеками. Построят плотину на Ангаре, поднимется Братское море, зайдет в ручьи и пади возле Тайгутинки, запустит прохладные щупальца заливов в душную от мошки и зноя перестойную тайгу.

Толя большой и Толя маленький работают в изыскательской партии. Техник Сема задает им направление по теодолиту, и они рубят просеки. Их лица скрыты черными сетками накомарников. У Толи маленького в сетке дыра — курить папиросы и забрасывать в рот ягоды красной смородины-кислицы.

Рубить нужно всё подряд: гибкие черемухи, ивняк, ольшаник, сизые осинки, завалы палых хвойных стволов, голые черствые елки, лиственницы, сочно-хрупкие сосны, крепкий подлесок.

Всё срослось, перемешалось, ушло корнями в мох, в воду, в камни. Лица стареют за такой работой. А Сема-техник поет целый день: «Ландыши, ландыши, белого мая цветы-ы...» Иногда он произносит с чувством любимую свою присказку: «Ах, Клавочка, и как вы попали на этот курорт? Интересно!».

— Начальник! — кричит Толя большой в урочное время. — Перекур!

— Вот противные, — говорит Сема. — Никогда не забудут про перекур. — Он ломает березнячок, ложится, кладет охапку на голову — от мошки. Спустя мгновение начинает храпеть. Он не курит.

А два Толи пускаются в спор. Они очень дружны — большой и маленький. Маленький тянется к большому, к его лихой силе. Он пока еще ценит ее превыше всех ценностей в мире. Но быть переспоренным он не любит. У него есть свой опыт жизни. За свои восемнадцать лет он плотничал в приволжских селах, учился отцовскому ремеслу, потом удрал в город Сочи, поливал там розы в саду «Дендрарий». Ходил с геологами по Кара-Кумам, однажды заблудился и чуть не умер в песках. Но — выбрался. Сам выбрался. Поехал на Ангару. И еще поедет, если захочет; выберется, если случится беда. Места много в стране — чтобы ездить, силы довольно — чтобы хотеть и работать. Семь классов кончены между делом, девочки засматриваются в большие Толины глаза, и топор лежит как надо в толстопалых, пестрых от ссадин ладонях.

— Этот вербованный-то, — говорит Толя большой, — которого я вчера метелил... Ты, говорит, челдон. А сам еще не знает, что это такое. Не челдон, а чалдон, во-первых. На Волге раньше лодки были такие, чалки. На них к баркам подплывали еще, чтобы воровать. Поэтому и называли чалдонами.

— Брось ты, — возражает маленький Толя. — Челдоны — это ну вот кто в Сибири сроду живет.

У большого вдруг вздуваются ноздри и шевелится нижняя губа, живая, презрительная, розовая.

— Я горжусь, что родился в Сибири. Понял? Иди ты... — Маленький отбивается. Оба матерятся...

А через пять минут начинается новый дружеский спор, даже не спор, а так — щебетанье...

— И для чего вот столько этой всякой пакости, комаров, мошек? — говорит Толя большой.

— Чтобы птичкам корм был, — уверенно отвечает маленький.

— Да ну уж, птичкам... В других местах этого комара и сроду нет, а птички всё равно ведь живут, их еще больше нашего...

Спор быстро крепчает, меняет предмет за предметом, наконец заходит в неразрешимый тупик. Толя маленький пытается взять верх с помощью своего громкого, наливного голоса.

— Чево-о? Думаешь, ты меня старше, так в тебе силы больше? В Ульяновской области мне приходилось, знаешь, какие бревна пилить! По двенадцати часов пилу из рук не выпускал, школу к первому сентября строили.

— Не хвались, Толик. Это тебе так кажется, что в тебе силы много. Ты еще в армии не служил. Армия — вот та дает человеку силу. Там каждое утро как пробежишь два километра, а потом еще маршбросок да физподготовка. Сначала доходишь, а потом уже начинаешь втягиваться. До армии это всё ерунда.

— Ну, давай, как попадетя толстый листвяк, попилим, кто скорее выдохнется.

— Смотри, Толик, не надорвись, а то мне придется еще Томочке долг отдавать натурой.

— Как бы мне не пришлось Сонечке отдавать. Сема-техник проснулся, взглянул на часы.

— Ну ладно, — сказал он обиженно. — Что вы на самом-то деле? Еще километра не прошли. Толя маленький, сруби пару вешек. Совсем распустились.

— Ничего, начальник, сейчас мы дадим марш-бросок.

В конце рабочего дня дорогу загородил листвяк, именно тот, что был нужен друзьям для решения спора. Он стоял как труба завода: толстенный, прямой, округлый, темно-кирпичный, вершина в небесах. Толя большой и Толя маленький преклонили колени перед этим деревом, взятым ими себе в судьи. Пила запрыгала по его шероховатому, крепкому боку. Пила сопротивлялась, не шла в дерево, словно была против покушения на столетний листвяк. Но друзья быстро ее укротили, она притихла, пригложла, опилки просыпались наземь, как мука из-под жернова. Грубо, явно и сильно задвигались лопатки под сношенной тканью комбинезона. Горячим и шумным стало дыхание пыльщиков. Как шатуны пригнанной точной машины, заходили их руки. Дерево долго держалось, но наконец крикнуло, осело, зажало пилу. Толя маленький первым содрал с лица накомарник. Щеки его были румяны, как на морозе. Толя большой тоже снял сетку. Его лицо было бледно, брови сошлись друг с дружкой еще теснее, чем всегда. Каждый теперь выдергивал к себе пилу, помогая плечами, грудью, даже шеей и головой.

— Ну, кончайте вы, — сказал Сема, — Толя маленький, давай-ка, подруби...

Маленький не ответил, не оторвался от рукоятки. Была его очередь дергать. Он согнул слегка руку, весь сжался, собрался над пилой, рванулся,

но пила осталась в стволе недвижимой, рукоять торчала, как сучок из коры.

— Хха! — выдохнул маленький и снова дернул без пользы. Тогда он встал, взял топор и пошел куда-то прочь. Он ударил стоявшую тихо березку с такой отчаянной силой, что она скользнула со своего пня, не качнувшись, стоймя коснулась земли.

— Ну что, Толик, — крикнул большой, — не хочешь больше, наелся? — Он взялся за рукоять и выдернул пилу одним коротким мощным движением рук. Последняя щепоть опилок порскнула из-под зубьев.

— Ничего, начальник, — сказал он. — Сейчас мы ее положим. Ляжет, и лапки врозь. — Толя большой всадил топор в лиственницу.

Она легла вскоре. Изыскатели двинулись своей просекой к дому. Идти было светло, чисто — совсем не то, что прежней душной тайгой. Просека рассекла тайгу и впустила в нее солнечный, ветренный воздух.

Маленький Толя шел позади всех, хмурился и молчал.

«Сно-ова цвету-ут кашта-аны, слы-ышится плеск Днепр-а».

Толя маленький старательно, сколько хватает духу, вытягивает гласные. Так принято петь в концертной бригаде, где он первый солист. Но этой наивной выучке не испортить Толину песню, потому что ночь, горит костер у реки, Томочка сидит на

траве, слушает, и руки, крепкие Томочкины руки, мякнут от нежности. И всё тело тоже. Томочка не чувствует большой жесткой гальки в траве и жара костра. Нежность переполняет Томочкино сердце. Томочка не может больше оставаться одна. Она тихонько зовет:

— Толик.

И он идет к ней, в белой рубашке с распахнутым воротом, с темнеющей грудью и шеей. Он высок. На него надо смотреть снизу вверх, как на звезды. И костер дружески заглядывает ему в лицо, и бегущая мимо вода одобрительно булькает, ткнувшись на мгновение в берег и поспешая дальше в Ангару, в Енисей, в море.

Толя опускается на колени и берет прохладными руками Томочкино лицо. Он держит его перед собой, и долго смотрит в него, и тихо несет к себе, и сам движется ему навстречу...

Томочка вздрагивает, встретившись с чуть шершавым мужским подбородком, прижимается к нему и шепчет:

— Толечка, родненький, миленький, хорошенький...

Толстые, глупые окуни смачно бьют хвостами о воду, передразнивая поцелуи.

Потом идут разговоры, шелестящие, беззаботные и важные, куда-то спешащие, как река.

— Ой, Толенька, смотри-ка, что у тебя делается. Все щеки мошка изъела. Хочешь, я тебе свой накомарник отдам? Нам в химлесхозе новые выдали. А я себе сошью.

— Да ну, — произносит Толя лениво, как подо-

бают мужчине. Он лежит, протянув ноги, положив голову Томочке в подол. Она водит пальцем по его лицу, рисует странный бесконечный узор и говорит, говорит...

— Ой, знаешь что, Толька твой вчера опять чего-то на Соню ругался. Как так можно жить? Соня вроде собачки за ним бегают. Толик да Толик. Всё ему позволяет. А он зато себя и выставляет таким самостоятельным. Соню поманил — она и прибежала. Не дружили, не расписались, ничего. Я бы никогда такого не позволила.

— Ты-то уж не позволила. Подумаешь. — Толя щурит глаза и выпячивает губы. Он вскакивает на ноги и подымает Томочку, вертит ее в воздухе и тащит к костру, и хвастает своей силой, и сам радуется ей. Оба смеются и жарко дышат.

Потом опять слышно, как фырчит, слабея, костер, как шлепают по воде окуни...

И еще идут разговоры.

— Мы запрошное воскресенье в Падун ездили, — рассказывает Толя. — Ну, что было! Все деньги пропили, даже на автобус нет. Толька говорит: «Поедем на такси». Ну, потеха! Сели в «Волгу», до старого Братска доехали, шофер говорит: «Платите, ребята». Толька его за плечо берет: «Ты таксист, говорит, и я таксист, понял, давай как таксист с таксистом...» Ну, что было! Так и доехали бесплатно. — Толя хвастает другом. Он не знает, чем похвалиться перед своей любовью. Не знает, что не надо ему хвалиться.

Томочка начинает зябнуть, ежится.

— Толик, — говорит она, — зачем ты ушел из

бригады, связался с экспедицией? Вчера наряды закрывали, в вашей бригаде, говорят, по семь рублей за день у всех обошлось... Бригадир у вас такой хороший человек был. Толька большой зато от него и ушел, что он пьяницам не дает спуску. А ты тоже за ним потянулся.

— При чем он здесь? — оскорбляется Толя маленький. — Я не Сонечка. Сам знаю, что делаю.

— Толик, я читала в газете, когда построят Братское море, в Тайгутинке пристань сделают, поедем тогда с тобой на пароходе в Иркутск?

— Поедем. В каюте «люкс». Толька плавал в «люксе». Ну, рассказывал, красота. Всё в коврах. Мы с тобой еще в Сочи поедем. Там такое дерево есть в «Дендрарии», самшит называется. Вот из него топорища крепкие выходят! Я тебе, хочешь, дом построю? Знаешь, мы с батей какие дома строили? Каждую досточку зыстругаю. Выкрашу всё. Уголочки заделаю как по линейке. Террасу построю. Наличники выпилю узорчатые. Ну, красота! — Толя маленький счастливо засмеялся... — На первом этаже сами жить будем, а на втором я комнату сделаю, туда Тольку пустим с Сонькой. У него всё равно дома никогда не будет. Он всё проплет.

— Толик, — тихонько сказала Томочка, — ты не замерз в одной рубашке? Хочешь, я тебе свою жакетку отдам? Мне ничуть не холодно.

И еще спустя немного:

— Толенька, миленький, ясненький мой! Откуда ты такой взялся?



Пора было ехать на работу. Все ждали Толю большого, сидя в кузове машины, поминали тяжелый день понедельник и особое молсдоженское положение Толи. Но, пропустив все сроки, пошли стучать к нему в дверь.

Дверь Толиной квартиры была сбита с петель двухметровой чуркой. Чурка лежала тут же, на пороге. Все перешагнули через нее, вошли в квартиру осторожно, как входят в покинутый дом. Под ногами что-то хрустело. Плита в кухне была порушена, каркас ее скопился набок, кирпичи выбиты и расколоты на полу. Всюду лежали обломки стульев и табуреток. Пол был усыпан крупой. Здесь же валялись смятые банки леща в томате, черепки посуды и куски сахара-рафинада. В комнате были разбросаны тряпки, должно быть, платья и кофты. Их тоже рубили. Всё носило следы дотошной, тщательной рубки. Не дикого буйства, нет... Порублен был также стол, подушки и одеяло. Сломанный хребет кровати касался пола.

Посреди этих бывших вещей лежал Толя большой в сапогах, в фуфайке, прижав к груди топор. Он проснулся и вскочил быстро, внимательно оглядел вошедших, будто хотел дознаться, простят ли его, можно ли было ему делать то, что он сделал. Убедившись, что можно, он повеселел и сказал:

— Я опять юноша. Холостой, неженатый... — И снова посмотрел на всех, дожидаясь себе приговора.

Толя маленький плюнул сквозь зубы, усмехнулся криво, выругался и вышел. Не мог он видеть этого поковерканного жилья, очень знакомого ему,

вчера еще чистенького, прибранного и красивого. Он почувствовал что-то вроде презрительной жалости к другу, словно друг вовсе не был большой, словно не бил вербованных в клубе, не пилил столетний листвяк на спор...

— Вот противные, — сказал Сема-техник. — Ну что ты, паразит, натворил?

— Ничего не помню. Ночью пришел, а Сонька домой не пускала, что ли. Я взял дрын и пошел шуровать. Что ты — совсем косой был. — Толя большой развел руками, приглашая понять его.

— Эх, Клабочка, — сказал Сема, — и как вы попали на этот курорт? Ну ладно, поехали.

— Поехали. — Толя большой заспешил, подхватил свой топор. — Мы тебе, начальник, сейчас всё сделаем в лучшем виде. Километра полтора рванем.

Но рабочий день не получился. Он кое-как дополз до середины.

— Начальник! — позвал Толя большой. — Отпусти опохмелиться. Не могу, душа горит. Я тебе завтра двадцать часов отработаю. А сегодня отпусти. Дурак я, что наделал... — И опять он посмотрел на всех, доискиваясь себе сочувствия, прощения или мужского приговора без жалости. Но сочувствовать никому не хотелось. Слово «дурак» казалось слишком слабеньким, непригодным для Толи большого.

А сказать ему те слова, что он заслужил, тоже было некому. Не было их у техника Семы. Было задание — двадцать два километра трассы. Закончить — и ехать домой, в город, к жене, в крепко построенный быт без драк и мата. Сема очень лю-

бил этот быт и жену, очень спешил закончить трассу.

Нужно было работать дальше всем вместе, рубить тайгу, добывать тяжким трудом каждый метр просеки. Это казалось важнее всего остального. Никто не сказал Толе большому окончательных резких слов.

А он их, может быть, ждал. Давно он их не слышал. Давно не знал для себя преград и запретов. Брал в жизни всё, что хотел, силой своей, нахрапом. День работал так, что трещали верхушки у сосен, неделю гулял. Всех красивых девчонок в Тайгутинке заставил себя полюбить. Да чего там заставил... Все его так полюбили. Соню взял себе в жены. Думал сначала, что любит, будет жить... Теперь всё порушил.

С полдня он ушел из тайги. Не хотел больше ни этой работы, ни этих людей, свидетелей его жестокого и жалкого буйства. Скверно было Толе большому.

Вместе с ним ушел маленький Толя.

На первой попутной машине оба уехали в Братск. Возле женского общежития они видели Соню и Томочку. Толя большой не пошевелился. Маленький встал в кузове и тотчас же сел, отвернулся.

Дорога шла из поселка широко и ровно. Сосны, елки, лиственницы, росшие здесь недавно, были сдвинуты бульдозерами вправо и влево. Их растолкали без жалости, повалили, покидали друг на дружку. Тайга поддалась, не сдюжила. Ехать такой дорогой было приятно, всё равно что идти ве-

чером просекой, рубленной утром своими руками сквозь дикую нежить.

От быстрой езды, от дороги, от ветра, оттого, что рядом едет маленький Толя, Толе большому становилось лучше. Зачем-то он был ему нужен, этот щенок, несмышленный мальчишка.

— Ничего, Толик, — сказал большой и положил маленькому на плечи свою руку. — Сегодня наш день. Не хуже людей проживем. Вот посмотришь.

Плечи были теплые, чуткие. Они замерли на мгновение под рукой у Толи большого, поежились и вдруг столкнули эту руку.

Деревню бог весть когда прозвали Пьяновом. Видно, были на это причины. Деревня жила богато. В закуску у пьяновцев шла ангарская стерлядь, таймешек, обильная рыба елец. Ангара кормила деревню, страшала разливами, топила рыбацкие лодки в порогах, учила людей широкой повадке. А потом пришло время людям научить реку своему разумному делу: трудиться, строить, родить свет. Люди написали белилами на диабазовой глыбе: «Мы покорим тебя, Ангара». Люди не тратят зря белил. Пришло время родиться Ангарскому морю.

Деревня Пьяново медленно двинулась по длинному взвозу вверх, ближе к тайге, прочь от грядущей большой воды. Деревня побросала негодные избы да закутки, а заодно бросила и свое прежнее непочетное имя. Деревня двинулась в дальний путь на высокий берег.

Нового имени для бывшего Пьянова еще не подыскали. Толя большой привез в эту безымянную деревню своего друга. Он провел его вдоль порядка новых домов. Толя маленький их скептически оглядел.

— Разве это дома? — сказал он. — Вот мы в Ульяновской области деревню строили — избы все как игрушки вышли. Все с резными наличниками, тесом обшиты под шпунт...

Вошли в пятистенный дом с двумя рябинами в палисаде. На пороге Толя большой потопал сапогами и крикнул:

— Есть кто живой?

— Никак Анатолий Романыч? — послышался голос. Вышла женщина, полная крепкого, деятельного дородства. Глядела она внимательно, с достоинством и открыто. Поздоровалась за руку.

— Ты чой-то, зятек? — сказала женщина. — Никак один прибыл? Сонюшку не привез?

— Нас вот с ним в командировку в Братск начальник послал, — сказал большой. — Инструмент получать.

— Какой инструмент-то, по лесному делу или же у вас в экспедиции особое что? — Это спросил высокий, сухой мужчина с голубыми глазами, с лицом обветренным, смуглым, посеченным морщинами вдоль.

— Особое, — ответил Толя большой.

— А-а-а... А я думал, может, ты там узнаешь, где пилу «Дружбу» купить. Я от лесхоза на заготовку иду, хоть сейчас бы взял «Дружбу». Такое удобство: что там бензину — плошку плеснул, и по

шел пиловать. Хоть в лесу, хоть по дому что поделать. Вот надо дров напасти...

— Это, папаша, я могу запросто. У нас в леспромхозе «Дружбы» навалом лежат. У меня самого она дома под кроватью валяется. Я Соню учу на ней работать. — Толя большой весело поглядывал и подмигивал маленькому.

— Да ты чой-то? — всполошилась хозяйка. — Ты Соню сейчас от всякой тяжелой работы избавь. Ей ничем таким нельзя заниматься.

— Какой может быть разговор, мамаша. Ты нам с другом достань-ка полбутылки. А то мы вчера уже крестины справлять начали. Подлечиться надо.

— Не рано ли, зятек, начали? — сказала хозяйка с тревожной заминкой в голосе.

— Лучше справить успеем...

Друзей усадили к столу, заставив, однако, снять сапоги у порога. Сияние крашеных половиц было заглушено половиками, лишь кое-где прорывалось в щели. Весь дом был крепкий, чистый. Ни одного изъяна не смог обнаружить Толя своим плотничьим глазом. Для всякого дела в доме имелась нужная справа. В сенях висели хомут и дуги. Похоже, хозяин был конюх. Густо свисали сети с берестяными поплавками. В целый чурбак была загнана бабка: бить косу. В своих ячейках на стенах торчали сверла, стамески, рубанки. В кухне белели пестики и мутовки. Крутобокая зеленая кадка стояла в углу, укрытая круглым щитом с узорной ручкой. На особом крюке висел цинковый ковшик.

Толя маленький не мог оторваться от этих вещей и орудий. В нем чуть внятно рождалась за-

висть к их основательной, целесообразной жизни. Ему хотелось снять орудия с их привычных мест, пустить в работу. Особенно часто он взглядывал на топоры, видневшиеся в раскрытых сенцах. Их было два: один с длинным, прямым топорщищем — рубить дрова, другой с коротким, кривым — плотничать. Оба заклинены крепко, оба синеют отточенной сталью.

Хозяева отлучились. Толя большой опять подмигнул:

— Погуляем у тестюшки. Не обеднеют. А потом махнем в Падун. В Иркутск поедем... Ты только молчи, мне поддакивай.

На стол принесли огурцов в рассоле с укропными палками, вилок капусты, запеченный и сквашенный целиком, кастрюлю жаркой картошки и стопки, конечно.

— Кушайте, молодой человек, не знаю вашего имени-отчества... — сказала хозяйка. — Анатолий Романыч, угощай товарища. И сам угощайся. Отец, иди к столу.

Толя маленький сидел у стола в этой хозяйской избе, хрупал медленно огурцами, морщил кожу у глаз. Не нравилось ему это застолье. Зачем он здесь? Какой он тут гость? Он вспомнил свой дом, родителей, таких же вот стариков, свое общежитие в Ново-Полонове, Томочку... Там он имел вес, и место, и голос, и там не нужно было смущаться и чего-то бояться, не нужно было жевать чужую капусту... Он вдруг подумал, что не стоило ехать сюда. Взглянул на Толю большого коротко, с неожиданной злобой.

— Так как же мы с пилотом сделаемся? — проговорил хозяин. — Тебе деньги дать, или же свою привезешь, раз, говоришь, она у тебя без применения...

— У моей кольца сгорели.

— А-а-а, вон что... Мать, будем брать новую «Дружбу», или как?

— Не знаю, — сказала хозяйка лукаво. — Богатый, так бери.

— Нету у него никакой «Дружбы». И нигде ее не купишь, только по леспромхозам дают. — Это сказал маленький Толя, не глядя ни на кого.

Большой встал. Его нижняя губа выпятилась вперед корытцем.

— Толик! — еле выговорил он, шепелявя от гнева. — Лезь под столик! — Он ударил маленького, но не так сильно, как бы хотел, потому что хозяйка подступила к нему стремглав, стала вплотную. Рядом с ее массивной грудью, с ее плечами, с крупной седой головой Толя большой не казался таким могучим.

— Да это что же такое? — быстро заговорила хозяйка. — Да у меня ни один пьяный мужик не посмел в доме драться. А этот ведь зятем считается...

— Никакой он вам не зять, — сказал Толя маленький и сморщил кожу у глаз, стал взрослым. — Соня от него в общежитие убежала. Он весь дом порубил.

Хозяйка еще ближе подошла к зятю. Глаза ее округлились, посветлели от негодования.

— Отойди от него, мать, — предложил спокойно



хозяин. — В милицию лучше заявим, пусть пятнадцать суток отсидит.

— Ничего, отец, семерых людьми сделали, без милиции обходились, и с этим управимся сами. Ты что же поделал с Сонюшкой, ирод? Да ты как же такое посмел?

— Спокойно, мамаша, спокойно.

— Ишь чего захотел, спокою... А ты о Сонюшкином спокойе много ли думаешь? У-ух ты зверь, челдонское отродье!

Пощечина у хозяйки вышла звонкой, прикладистой.

Толя большой дернулся весь, руки его мотнулись, схватились за стол и опустились. Он повалил ногой табуретку и пошел к дверям.

Его не стали удерживать. Хозяйка засобиралась в дорогу, в Ново-Полоново.

Маленький Толя ушел втихомолку. Он догнал большого на выходе из деревни.

— Ну что ж ты, сука? — сказал большой устало и равнодушно.

— Я не сука и, по крайней мере, не собираюсь ею быть...

— Ну, ладно, Толик, кончай. У меня гроши есть. Поехали в Падун.

— Чего я там не видал? — Толя маленький пошел вниз по дороге, ведущей к Ангаре. На дороге еще было светло, а в широкой котловине над бывшим Пьяновом уже потемнело. Тьма лоснилась и колебалась, словно это вода, словно море...

**Я** не знаю, что такое лепяга. Вот словарь Даля купил, читаю на «Л»... Лепить. «Ласточка лепит гнездо, пчелка соты». «Лепый». «Вражье-то лепко, а божье-то крепко».

«Лепяги» нет в словаре. Я думаю, это болотинка такая жидкая, озерцо, запрудная лужа. Услышал я «лепягу» лет десять назад, а вот всё не могу позабыть. Тогда, по-юности, держался бывалым, несуетливым человеком, не переспрашивал ни о чем.

Помню, отыскал в деревне Имоченице тамошнего председателя сельсовета, охотника, спросил его без надежды, с нахальством отчаяния:

— Так где у вас тут глухари-то токуют?

Председатель, хмуроватый мужик, сел на бревна, послунил сигарку слева направо, будто по губной гармошке прошелся. И справа налево. Затянулся, посмотрел внимательно на завертку и еще затянулся.

— Вот пойдешь, — сказал, — этой дорогой, край елани дойдешь, а там на правую руку бери. Увидишь, у машин езжено. Ну что там? Верст пятнадцать есть. Сначала лежневкой пойдешь. Лес во-вили. А потом колеей дуй. Машины-то до Царских мхов ходили, а теперь, значит, нужно соображать. Да. Как будешь идти, сторожи на левой руке лепягу. Сравнялся с лепягой — тут тебе и свертка.

Да. Ну что там? Шагов, может, двести, а то и тех нет до токовища. Там уж решай по ходу дела. Ты песню-то знаешь?

— Не знал бы, чего на ток ходить?

— Да... Там должны мощники петь. Туда мы нонче не ходили. Разве что к Рябушке зять приехал, заостровский мужик. Только что мы бы знали. Не должно.

Председатель сельсовета ушел с бревен, а я остался сидеть. Не спросил, что такое лепяга. Он охотник, я охотник — равные люди. Поровну должны знать.

Мне уже было время идти. Но я всё не шел. Уходился. Двое суток месил глину да галечник, мох да сыпкие к полдню, гремучие ночью снежники по лощинам.

Не повезло мне в ту весну. Забрался в дальнюю даль, а друга-охотника уже не застал. Он подался на праздники в лес. Дожидаться? Так ведь мне самому только праздник — свободное время.

Праздник. На дороге тихо. Жена моего друга, добрая, широкоплечая женщина, посмотрела на меня так жалостливо и горестно, когда я пошел один.

— Ну куда вы пойдете? — сказала. — Коля думал, вы второго к нам. А так он бы, конечно, дождался. Он про вас вспоминал. Подождите его. Он, может, к завтраму вернется.

Мой друг Коля знал все токовища по Свири, по Ояти и по Шоткусе. Я знал только одно — за Имоченицей. Спидометр на Колином мотоцикле когда-то отсчитал до Имоченицы сорок два километра.

Это от Лодейного Поля столько. Да еще от Ленинграда двести шестьдесят. Да от Имоченицы до тока — четыре.

А что было делать? Я пошел себе большаком. Гуси перелетывали дорогу. Они тянули низко, словно знали, что праздник и люди спят после вечерней гулянки. Гуси перестраивались на лету, и воздух шелестел в крыльях. Будто велосипедисты в большой гонке неслись по небесной шоссейке. Солнце было ниже гусяного лёта, освещенные подкрылья казались белыми. Я не стрелял по гусям, не поспевал, да и не хотелось мне стрелять.

Умытые, прозябшие веточки на ближних березках казались черными. Капли на них светлели. В дальнем лесу росли те же деревья, что и подле дороги, но виделся тот лес другим — желтым. Чуть желтеньким. Такого цвета клейкая испарина у новорожденного тополевого листа. Да какой тут тополь! Береза, елка, ольха, осинка кругом. Вот они — зимние еще, только умылись. А вдалеке — уже видно: живут, соком набухли, листья готовы прыгнуть. Весна.

Первое мая.

Кто не ездил на праздники в лес?

Знаете, что на заре каждое озеро как большой алый флаг? Каждая лужица на дороге — флажок.

Слышали, как фиалка расталкивает старые листья: хватит меня пригревать?

Праздник!

Знаете, что такое лепяга?

Я тоже не знаю.

У меня есть жена Галя. Она меня будет ждать

все праздники напролет. Ей двадцать один. Месяц как я женился, но уже начал думать, что это слишком легко и значит несправедливо: целовать Галю утром, в полдень, в потемках, садиться за стол и хлебать сваренный Галей суп. Я ничего не говорил ей об этом, целовал, но про себя-то думал: «Нужно идти к ней трудными путями, по пояс в снегу. Нужно ее заслужить».

Снег уже почти весь сошел.

В Люговичах я свернул на проселок. В мешке сто патронов. В каждом тридцать граммов дроби, пороху — один и семь десятых. Капсюли-жевелю. Топорик новенький куплен, двести граммов ветчинной колбасы, три пачки горохового концентрата, ну и ещё кое-что по мелочи.

На исходе четвертого часа дороги я подумал, что тридцать граммов дроби, помноженные на сто, — это всё же вес.

К вечеру пришел в Имоченицу. Председатель сельсовета сразу же попался мне на улице, но я его тогда не спросил, потому что знал, куда идти, как до тока добраться.

Наверное, странно было видеть председателю: идет парень по деревне, по ровной улице, а будто в горку, сапоги резиновые волочит, большие сапожные проушины колыхаются на ходу, шею выпростал из ватника, ремешок ружейный стиснул в кулаке, лицом страдальчески хмур.

«Только б дойти».

Сорок два километра до Имоченицы. До тока еще четыре.

Дошел.

Костерок получился жидкий: во тьме как сыщешь дров? И шуметь нельзя.

В ночь ударил мороз. В три часа я уже крался вдоль гривы.

Был скрючен холодом, несчастен, шатался, руки всё норовил поглубже погрузить в рукава.

Ночной ледок треснул под сапогом. Сразу шумнул крыльями по ветвям глухарь. Слетел. Всё этим и кончилось. Только сны на меня наплывали и — толк в спину... Холод. И глухарки лопотали. Хоркал вальдшнеп. Тетерева гомонили кругом, невесть где. Журавли... Я бродил по гриве и уже позабыл, для чего.

Потом ударило солнце, и я немного поспал. Суп гороховый не распечатал: не время. С полдня опять пустился слушать токовище. До сумерек ждал прилета. Ни один глухарь не повестил о себе шумом посадки. Бросовый ток. Распугали. Еще одну зорю терять? Но ведь завтра третье мая. Четвертого мне на работу. Я быстро, зло зашагал в Имоченицу — председателя искать. Он-то знает тока: охотник. Только скажет ли? «Другого выхода нет, — говорил я себе, — другого выхода нет».

Вот тогда и сказал председатель про лепягу.

...Я прошел все пятнадцать километров лежневкой. Потом колеей. Тут ходили машины. На скатах цепи. В-в-вз-вз. В предельном усилии зудели моторы. Но у меня-то ведь нету цепей. Да что там машины... Я думал о Гале. О моей любимой девушке. Нет. О жене. Очень рано я женился. Ну и что же? Я думал, что не могу вернуться без глухаря.

Колееи были пропаханы в метр глубиной. Хлябь

по колено. Что такое лепяга? Ничего. Всё равно я его убью.

Так шел и скрипел зубами. Ночной человек. Подвижник. Не снег, так хлябь. Это еще труднее.

Но сколько там ни скрипи зубами, ведь уже упал два раза. Невмоготу такая охота. Свернул на левую руку возле первой воды. Может, это не лепяга? Вода была густой черноты, гуще, чем ночью. Маслянисто мерцала. Как раз и просека открылась. Просвет.

Свернул.

Болотцем почавкал, и сразу вжикнул под ногой снег. Чешуйчатая, крупного зерна горбушка. Будто и не было никаких фиалок. И солнца вчерашнего, первомайского, тут, знать, не знали.

Сел на валежину, подумал о ветчинной колбасе, но вяло. Не стал мешок развязывать. «...Двести шагов есть от поворотки? А... Хватит». Пошла, двинулась снежная горбушка вправо, и просека всколыхнулась, а сосны, а сосны — в кружок... Сон тюкнул в спину. И всё.

Вдруг — холод. Не медленный озноб. Ноги еще не успели остыть. Руки не нужно спасать в рукавах. Морозом стукнуло, и кожу на затылке свело. И позвоночник приморозило. Не понять, что случилось. Сна ни в одном глазу. Страшно.

Слух сработал не сразу: кррах-пррум-хррыщ. Кто-то идет и хозяйски ломает лес, лед, тишь, тьму. Кто-то большой. Кто? Где я? Почему тут зима? Ведь весна. Первое мая.

Медведь? А может быть, лось? Волки так не ходят. Вдруг человек? Да нет...

Я не знал, кого мне бояться, медведя или ночного человека. Кто знает — кого?

Тяжелый шаг по лесу вдруг прекратился. И стало еще страшнее. Значит, меня заметили. Зверь? Человек? Что он там замышляет?

Вдруг: тюп-тюп-тюп по насту. Бежит! Сюда! Зверь! Волк! А может быть, заяц? Нашуметь бы побольше. Огня бы. Сучья ломал. Бересту... Вычиркивал по три спички зараз.

Костер разгорелся, потрещал, отогрел меня. И тут же его загасило дождем. Дождь возник прямо посреди недвижной и тихой ночи. Он плотно, мягко опустился. Снег и пламя зашипели одинаково, костер погас, а снег еще долго шуршал, и стало непонятно, где шаги зверя, а где этот текущий шелест таяния. Я стрелял и кричал: «Эге-е-ей! Эге-е-ей! А ну-ка, ну давай!»

К трем часам сказал себе слабым голосом: «Ну вот. Пора идти. Нужно идти. Я не могу приехать без глухаря». Я попытался думать так. Поскрипел зубами. Но стронуться с места и вступить в большой лес не смог. Стоял еще долго. Наконец пошел. Изо всех сил топал по насту. Упреждал о себе.

Наконец остановился и затих. Токовище было близко. Лес еще спал. Далеко-далеко пел глухарь. Тэк-тэк, тэк-тэк, тр-р-р-фш-ш-ш, тэк-тэк... Будто детскую трещотку кто покручивает. Далеко-далеко. Сердце кверху, кверху пошло. Уф-ф. Задохнулся. Жарко. Глухарь поет. Глухарик.

Леса не стало. Снег сошел. Тьму в клочья порвало. Страх?.. Какой еще страх! Глухарь поет.

Он шипит, трясется в истоме, не чувствует меня.



Я скачу. По снегу. По клюквенному болоту. От сосны к сосне. Петляю. Ружьишко в руках...

...Глухарь пел в реденьком болотном соснячке. Их много там пело. Глухарки квохтали, озабоченные своей страстью. Может, уже загодя о птенцах помышляли. Внизу, на кочках, шла драка. Любовь.

Вместе со мной из лесу вышел волк. Он пересек открытое болото, затрусил понуро, рысцой, опустив морду в мох.

Я поглядел на волка. И сразу же забыл про него. Я видел, слышал, вбирал в себя напряжение и счастье весеннего игрища птиц. Но волк нашумел на болоте. Глухарки замолчали. Потом разлетелись.

Весь день я ни разу не подумал, какое сегодня число. Концентрат не варил. Колбасу не тронул. Не до того было. Думал только короткими фразами: «Всё равно. Ладно. День пропущу. Мне положен отгул. Пусть. Убью. Не уеду, пока не убью».

Нагибался за брусничкой, но не чувствовал ее вкуса. Нужно было скорее прожить этот день и продолжить охоту.

Я ходил по мшарам, а когда возвращался, видел вдоль больших, темных, уже затекших водой лунок от моих сапог еще другие, маленькие, мелкие лунки: волк всё провожал меня по лесу.

«Логово гут, наверно, — подумал я. — Волчица ходит за мной, стережет. Надо в Имоченице председателю сказать».

Очень длинный получился день. Нужно бы завтра на работу. М-м-м. Чего мне выслуживаться перед Галей? Она всё равно мне рада. Ведь жена.

И потом я сделал всё, что мог. Подумаешь, не убил. Ведь волк распугал. Я тут ни при чем.

«Ну н-нет, не выйдет». И скрипел зубами. И рубил новым некрепким топориком палую, голую, за-костеневшую осинку. Знаете, как полыхает сухая осинка? Знаете, что такое костер?

За полночь, в три часа, я уже стоял посреди токовища. С вечера слышал, где какой глухарь сделал посадку. Скоро все они начали щелкать. Я быстренько подошел к ближайшему. Прицелился в дрожащую кляксу посреди сосновых веток. Выстрелил. Клякса пуце забила. Не упал глухарь. Полетел. И всё. Не стало тока. И не будет. И ночевать больше нельзя. Зря сорок два километра до Имоченицы... Ведь за день прошел. Двести шестьдесят до Лодейного — тоже зря. И пятнадцать по лежневке... Еще по колее сколько... Всё зря.

«Не могу», — сказал я себе. И почувствовал ужас. Мне было двадцать два года. Но я не мог убить глухаря. Другие могли. «Ну что же, — говорил я, — ну зачем? Ну как? Надо всё бросить. Всё к черту! Не могу. М-м-м».

«Брошу, — сказал я. Я не знал еще, что я брошу. Но в этих словах чудилось облегчение. — Брошу! Брошу, — твердил я, — всё к черту брошу. Надо всё начинать сначала. Гале скажу: «Прости. Не могу». И уеду. К чертовой матери. На целину. Всё сначала. Да. Или в Одессу. Грузчиком. М-м-м».

Глухарь вдруг всполошил бледнеющее небо и сел близко. Сразу, не тратя времени на осторожность, запел.

Я его убил. Вздрогнула планета от падения птицы. Я поцеловал петуха в маленькую костяную головку. «Где же тебе, — сказал, — против меня».

Пошел не торопясь по болоту. На опушке еще один пел. Небо уже стало синее. Солнце. Я убил и этого тоже.

В каждом было килограммов по пять. Патронов у меня осталось восемь десятков. Два потратил на дело, другие по пустякам. Колбасу я достал из мешка, размахнулся и кинул: пусть волк хоть немножко поймет, с кем имел дело. Гороховый суп размял и оставил на кочке. Глухарки склюют. Самому-то мне одного хотелось — петь.

— Ну что ты, — сказал я всему лесу, — ну что ты тут стоишь?

Шел домой и пел песни, в основном насчет своей жены Гали. Задышался от пения, от своего могущества. «Эх! — кричал я. — Э-ге-ге-ей! Эй вы-ы-ы! Как-нибудь проживе-е-ем! Э-э-э-э!»

Председателю я сказал:

— Сходи там, от лепяги шагов сто пятьдесят, логово волчье.

— Ну? — сказал председатель. — Сто пятьдесят, говоришь?

— Может, сто семьдесят.

За спиной висели у меня два глухаря клювами вместе, хвостиками врозь.

— Нужно сходить, — сказал председатель. — А ты что, волчицу видел? А то, может, шатун?

— Волчицу.

На большаке меня догнал мотоцикл с коляской. Лодейнопольские охотники ехали: Мизеров, глав-

врач, и Бородавкин, преподаватель. У них был один глухарь на двоих.

— Из Имочениц, что ли? — спросили они меня как бы без интереса.

— Да нет. За лепягу ходил.

— За Кондигу, может быть? — переспросил Бородавкин.

— За лепягу.

— А-а-а.

Мизеров промолчал.

Друга Колю я опять не застал: теперь он в Заостровье поехал. Механиком в леспромхозе работает.

Жена его сказала:

— Так ведь тяжело вам. Давайте я выпотрошу, уложим в мешок...

— Спасибо. Нет, нет, ничего.

В Ленинграде я всё читал газеты. О демонстрации и о параде. Я читал, а мимо моих глухарей шли ленинградцы. Они говорили: «Ах! Кто это такие?» Так говорили женщины. Мужчины молчали. Они завидовали. Некоторые хвалили меня: «Молодец!» Я читал о параде на Красной площади, на Дворцовой площади. О демонстрации в городе Киеве. И в городе Ашхабаде.

Дома я кинул птиц на пол и тяжело опустился на стул. Моя жена Галя стояла передо мной. Ей еще не исполнилось двадцать два. Она говорила мне:

— Тебя покормить? А может, сначала поспишь? Или в баню? У нас еще от праздников выпить осталось. Кара-Чанах. Хочешь, я тебе дам?

Ой, какие! — говорила она, глядя на птиц. — Ой. Лучше бы сам поскорее приезжал. Их нужно с брусникой приготовить. Да. Я читала.

Я всё отворачивался от Гали. Очень у нее была короткая ночная рубашка. Я всё тянул время, хотел еще пожить в своих сапогах, со своими глухарями. Но уже чувствовал: недолго мне с ними осталось жить.

— Да вот, — сказал я, — пришлось сходить за лепягу.

— Ой, — сказала Галя, — хоть сам-то приехал, снимай сапоги скорее.

**Н**е надо мне было ехать на фестиваль с Васькой. Слишком разные у нас характеры. Слишком он любит пить молоко.

Мы приехали в Москву, вышли из вокзала и увидели и услышали, как трепыхаются флаги. Флаги прищелкивали от натуги. Куда-то они стремились. Мне тоже захотелось стремиться. Моя белая в полоску рубашка тоже чуть-чуть потрепыхалась и пощелкала на ветру.

Васька сказал:

— Сейчас надо взять обратные билеты, потом купить молока, булку и позавтракать.

— Вася, — сказал я, — пойдем. Пойдем скорее. Ну, пойдем! Успеем мы купить билеты.

Васька замотал своей черноволосой головой и отправился в кассу. Я пошел один по Москве.

Вся Москва пошла мне навстречу. Все шли и ждали, когда случится самое необычайное в их жизни. Это необычайное должно было случиться вот-вот. Я приглядывался к идущим, и ко мне тоже приглядывались, потому что никто не знал, как произойдет необычайное и кто именно из идущих несет его в себе. Все склонны были принимать друг друга за иностранцев и разговаривать по-английски, по-немецки и по-французски.

Неспокойный ветерок сквозил по Москве. Моск-

ву посыпало дождичком, чтоб она разворачивалась поживее. Бегали по вокзальным переходам молодые активисты в узких брюках с заолодевшими от серьезности глазами. Им выпало много работы.

Я купил в ГУМе три деревянные матрешки. Одну из них я подарил голландской красавице. Красавица точно соответствовала моему раннему представлению о ней. Она была златокудрая и протянула мне из автобусного окошка прозрачно-розовую и слабую руку. В руке была открытка с видами города Амстердама.

Жизнерадостная фрейлейн из Западной Германии, которой я подарил другую матрешку, трижды чмокнула ее в маковку и протянула мне открытку с видами города Фленсбурга.

Третью матрешку я подарил молодому французику. Он стоял посреди Красной площади и непрерывно разговаривал по-французски. В то же время он успевал раздавать автографы нахальным от застенчивости девочкам и самостоятельным ребятам, тянувшим к нему блокноты. Он успевал оглядывать Кремль, и мавзолей, и вкрапленных в толпу красивых москвичек, и подмигивать, и улыбаться. Французик сунул матрешку в карман, очень мало поглядев на нее и на меня тоже.

Фестиваль еще не начался. Никто еще толком не знал, что делать. Ничего еще не было, одно любопытство.

Я уже двинул в ГУМ за новой партией матрешек, но вдруг появился Васька. У него был усталый вид.

— Где мы будем ночевать? — спросил он. —

Разве так делают? Надо было заранее всё обдумать. Страшно всё примитивно...

Ночевали мы на Тверском бульваре. Всю ночь нас будили милиционеры. Утром Васька мог произносить только некоторые слова. Он будто сплевывал их, чтоб немножко облегчиться. Он говорил: «Бездарно, примитивно, дико...»

Флаги повисли смиренно. Чего им теперь было трепыхаться? Первое утро фестиваля карабкалось по стенам, находило лазейки в самой гуще липовых веток, оно зябко касалось прохладного песка на дорожках, смело ложилось на тротуары. Утро тянулось ввысь и там богатело теплом и светом. Там оно становилось днем.

— Так нельзя, так нельзя, — твердил Васька. Он был очень расстроен.

Прошел мимо автобус с надписью: «Мексика». Из него протянулось добрых три десятка рук, и все они замахали нам с Васькой. Я сначала очень застеснялся и не смог помахать в ответ. Кто я, в сущности, такой? Какие у меня полномочия махать рукой Мексике? Но автобус уходил. Сейчас он мог скрыться. Из окошка глядели мексиканцы и мексиканки. Все они улыбались нам с Васькой. Я вдруг замахал сразу двумя руками.

Что-то уже случилось. День занимался над Москвой. Это был совсем новый день. Появился другой автобус, и я махал ему и махал всем автобусам, пока не уехал из Москвы. Все автобусы махали мне в ответ.

— Это же примитив, — сказал Васька, — махать руками...



Мы сели в трамвай, чтобы немножко поспать. Трамвайчик покатил нас по московским пригородкам. Мы поспали до кольца и обратно. Как раз подошло время ехать к сельскохозяйственной выставке. Оттуда должно было начаться фестивальный шествие.

В Москве становилось жарко. Люди вышли на улицу. Они вытягивали шеи. Они забрались на крыши и стояли там, как фигуры на Зимнем дворце. Москвичи толкались, наступали друг другу на ноги, им было тесно, но они нимало не ругались. Совсем новый был день, непохожий на все прошлые.

Я был крепче многих москвичей и пробился в первый ряд. Никто не сказал мне худого слова. Все смотрели на меня понимающе.

Мимо поехали машины и автобусы. Сначала они проносились быстро, потом где-то впереди движение застыло, и можно стало не только махать руками, а заглядывать в глаза людям, едущим в машинах и автобусах. У людей были такие глаза, что хотелось растолкать милиционеров, стоявших, как белые столбики, по краю дороги, и врываться во все машины и всех обнимать. Никогда еще в жизни не бывало со мной так. Никто мне не разъяснил, я сам увидел, что в мире есть не только Васька — любитель молока, не только родня и сослуживцы, не только разные встречные и прохожие люди. Весь земной шар проезжал мимо в машинах и автобусах, и оказалось, что нет на нем ни одного человека, которого бы я не любил.

Все мы кричали и хлопали в ладоши, тянулись

к неграм, к финнам и австрийцам. Но когда поехали мимо чехи, у меня вышибло слезу — до того они были в доску свои ребята. Ревели от восторга, завидев китайцев, болгар и венгров.

Израильтяне ехали очень медленно. Я стал упорно глядеть на одного из них. Израильтянин меня заметил. Я помахал ему рукой. Он улыбнулся. Я погрозил ему пальцем: «Смотри, парень!» Он подмигнул мне: «Всё в порядке». Я снова помахал ему рукой.

Васька тоже махал, как и все. Я иногда взглядывал на него. Он хлопал в ладоши и кричал: «Мир, дружба!»

— Это смешно, это смешно, — сказал он мне после. — Все кричат: «мир, дружба». Это смешно.

Милиционеры не устояли. Да и не очень-то они старались устоять. Не такой был день. Москвичи и москвички перемешались с машинами и автобусами, пошли с ними рядом, дружески трогая их руками, похлопывая их по кузовам, кабинам и окнам. Мы с Васькой пошли следом за автобусом с надписью: «Франция». В нем ехали одни француженки. Все они протягивали руки и шевелили пальчиками, будто только что сделали маникюр.

— Вася, — сказал я, — а что если я поцелую очаровательную парижанку? Ведь можно это позволить себе один раз в жизни. Ведь больше никогда не удастся.

Васька вдруг засмутился, даже покраснел. Наверное, у него тоже были кое-какие мысли насчет парижанок.

— Брось, — сказал он. — Не заводись. Отдохни.

Я догнал автобус и долго шел с ним бок о бок. Парижские пальчики были совсем рядом, у самого моего лица. Я захватил один такой пальчик и от волнения не сразу понял, чей он. Все лица в автобусном окошке перестали быть для меня лицами. Они безнадежно перемешались. Кажется, все француженки были блондинки. А может быть, нет.

Я побрел своими спотыкающимися пальцами по чьей-то руке. Когда я добрел до половины, то увидел, куда бреду. Я увидел глаза и губы. Глаза смотрели на меня. Сейчас мне их не вспомнить. Меня обуял страх. Это был даже не страх, а ужас. До губ и до глаз оставалось меньше метра. Но на этом малом пространстве было очень много всякой всячины. Тут были и государственные границы, и горы прочитанных газет, и глыбы усвоенных понятий о жизни, о границах и о правилах поведения. Тут было всё, преподнесенное мне за 26 лет в учебных заведениях, на комсомольских собраниях и на службе. Сердце мое толкалось сильно и редко. Чтобы подкрепить себя, я твердил не имеющее смысла слово: «надо, надо, надо, надо...» Я чувствовал, как от этого слова во мне проклевывается могущественное чувство долга: надо!

Я сделал рывок через все государственные границы прямо к французским губам. Я прижался к ним и забыл, что мне надо идти вместе с автобусом. Я остановился. Автобус пошел дальше, увозя от меня губы. Они были теплые внутри, чуть-чуть зачерствевшие от краски и доверчивые — женские губы. Я знал и раньше, что они таковы на вкус. Но все люди и машины заколыхались передо мной,

пошли волнами. Я стоял долго, и автобусы фыркали, и Васька всё что-то говорил, говорил.

— Ну ты даешь, — говорил Васька. — Ну ты даешь. — Он качал своей чернявой головой и поводил острым носом. Наверное, ему было завидно.

Я обнял Ваську и сказал ему:

— Васек, понимаешь ты, что это такое? Понимаешь, какой день? Ничего ты не понимаешь.

— Ну-ну, — сказал Васька, — ну-ну. Давай-давай.

Вечером люди не разошлись по домам, а остались все вместе. Они ходили по улице Горького и по Красной площади, играли на аккордеонах и гитарах, пробовали братья за руки и танцевать и петь. Чувствовалось, что люди еще не очень умеют просто так братья за руки и петь. Но всем нравилось это, никто не хотел уходить, всем хотелось научиться быть веселыми. И все бы наверняка научились, если бы так скоро не кончился фестиваль.

Для нас с Васькой он кончился еще скорее. Мы нашли укромную скамейку, выгребли из карманов червонцы, трешки и морщинистые рубли и сложили их в одну кучу. Васька забрал ее себе. Он знал, как экономно обращаться с деньгами. «Дня три еще, — сказал он, — на молоке протянем».

— Вася, — сказал я умильно, — давай немножко выпьем. Давай, слушай, давай.

Васька замотал головой и закрутил носом.

— Наверно, тебе очень скучно жить, — сказал он. — У тебя на первом месте выпивка...

Но всё же мы пошли в кафе «Метрополь». За одним из столиков сидел Абдель Керим аль Рафи.

Мы узнали после, что его так зовут. Голова у Керима была повязана белой косынкой, как у большинства африканских людей. Он сидел серьезно и чинно.

— Васька, — сказал я, — давай поговорим с ним. Давай...

— Брось, — засмутился Васька. — Не заводись.

— Ты странный парень, — сказал я. — Неужели ты еще ничего не понял? Ведь сегодня всё можно.

Я подошел к Кериму и сказал ему по-английски:

— Ду ю спик инглиш?

— О, йес, — ответил он. — Мирь, дрюжба... — После этого мы уже разговаривали не переставая.

— Ит из нот инаф ту сэй ай эм вери глэд, — сказал Абдель Керим. — Ит из нот инаф... — (Это недостаточно сказать, что я рад, этого слишком мало...) Ай хэв но вордз ту сэй... (Нет таких слов, чтобы сказать...) Совет Юнион из аур бест френд... (Советский Союз — наш лучший друг). — Керим отчетливо выговаривал английские фразы. Я их легко понимал. В черных Керимовых глазах возгоралось такое сияние, какое редко встретишь в наших северных широтах. Васька расхрабрился и сказал Кериму по-французски: «Базиль» — и ткнул себя пальцем в грудь.

— О, — сказал Абдель, — Базиль, Базиль! — Он потряс Васькину руку и мою тоже. Мы выпили немного коньяку, Керим размотал свою косынку и вдруг оказался самым обыкновенным цыгановатым парнем. Чем-то он даже стал похож на Ваську. Васькины глаза тоже разгорелись от коньяку и от

близкого общения с африканским человеком. Васька посмотрел на меня просительно и молвил:

— Может, еще по рюмашке?

Я сказал:

— Конечно!

Абдель вписал в наши книжечки свое имя и название своей страны: Судан. Он снова замотал на голове косынку и опять стал торжественным африканцем.

...Когда мы вышли из кафе, у нас с Васькой остался один червонец.

— Значит, придется уехать завтра, — сказал Васька. — Только и всего. Только и всего.

— До чего же тебе скучно жить, — сказал я. — Какое это имеет значение, что у нас нет денег? Какое имеет значение, что мы спим на скамейке? Это же не имеет никакого значения.

— Примитив, примитив, — сказал Васька. — Нужны элементарные удобства. Надо ехать. Всё равно никуда не попасть. Ни на один концерт не достать билета. Надо ехать.

Назавтра я провожал Ваську. На вокзале было тихо-тихо после фестивальных улиц. Какие-то люди куда-то ехали. Были среди них люди пасмурные, небритые. Было их пронзительно жаль. Но об этом не хотелось думать. Это еще не касалось меня.

Васька уехал грустный.

На привокзальной площади дворники шаркали метлами. Я побежал прочь от вокзала. Благо было куда бежать.

Дворники шаркали метлами по панелям, сметая

с них флажки, бумажки, программки — пеструю фестивальную шелуху. Лица у дворников были сердитые. Слишком много им выпало работы. Каждый из них думал, наверное, так: «Побаловались и будет, и будет, и будет...» — и шаркал своей метлой.

Один дворник приставил к столбу лестницу-стремянку, чтобы снять маленькую гирлянду разноцветных флажков. Дворник был дородный мужчина. Флажки слабенько трепыхались у него в руках.

— Подождал бы, — сказал я дворнику. — Что ты снимаешь раньше срока?

— Это мы знаем, — сказал дворник, — когда что снимать, когда вешать.

Я пошел, а потом побежал обратно на фестиваль. Бежал и слезно просил не знаю кого:

— Подождите! Подождите, дворники! Подождите еще немножко!

1957 г.

**П**исьмо это в самодельном конвертике шло долго. Его везли через озеро в лодке-долбленке. Потом оно ехало в большой сумке, привязанной к седлу. Молодая, черноглазая и раскосая почтальонша покрикивала на свою мохнатую алтайскую лошадку: «Чок, чок!» Письмо тряслось в почтовой телеге, телега подскакивала на корневищах, потом двое суток мчалось по Чуйскому тракту. Оно одолело четыре горных перевала, пока попало в почтовый вагон.

Письмо начиналось так:

«...Не обидьтесь, приезжали Вы давно, а Ваши письма не под руками, а может, вы там не написали Вашего имени-отчества.

Я был бы очень рад Вашему приезду и, если будет разрешена весенняя охота, провожу Вас на глухариный ток. Помогу Вам найти глухарей не больше пяти штук, а если захотите убить больше, то я уже помогать не буду. Хоть птицы пока что много и охотники редко сюда добираются, а всё же надо о ней беспокоиться.

А свисток на рябчиков, что Вы обещали прислать, мы так и не получили.

Пишите, если вздумаете приехать.

Желаю Вам здоровья и радости.

Ув. Вас Костромин».



Мне припомнился старый Костромин, наблюдатель поста гидрометеослужбы, его особенная, умудренная тайгой и трудами жизнь.

«Черт возьми, — сказал я себе с досадой, — как же это я забыл послать свисточек?»

Мне сильно захотелось на озеро к старику. Потянуло после года сидячей службы размять тело нелегкой работой, которую потребуют от меня тайга и горы. И еще захотелось — прыгнуть с разбегу прямо в весну. Она уже начиналась где-то за городом. Хотя бы немножко пожить с ней вместе, услышать, как рады ей земля и вода и деревья, обрадоваться бы вместе с ними.

Я написал Костромину, что приеду, взял отпуск и отправился в путь.

Добирался до его заимки не один и не два дня. Наконец, она завиднелась на той стороне озера, а вокруг заимки — горы да кедры, а мне туда не попасть. Ветер-низовка согнал со всего озера в заливчик к заимке мелкий игольчатый лед. Переплыть на лодке нельзя, а обойти берегом мешала гора Туулук. Она разворошила своим острым верхом тяжкие вялые облака, вся в клочьях линючего, старого снега.

Никаких особых планов и мыслей насчет того, что делать дальше, у меня не было. Костроминская заимка чуть виднелась на том берегу, но от меня ее отделяло три километра непролазного ледяного крошева. Я затеял костерок, набрал в озере полный котел шуги, кинул в него последнюю заварку гречневого концентрата и заснул, сидя на камне. Дорога взяла свое.

Сны, как ящерицы, юркнули под ватник, рожденные холодом и усталостью; они заворошились в моем нутре. Я дергался и вздрагивал от этих снов, но скинуть их и проснуться не мог.

Вдруг что-то случилось в мире хорошее для меня. Я открыл глаза от непонятной мне радости и потряс головой. Тьфу, какая привиделась чертовщина! Похлопал себя по нагрудному кармашку. Слава богу, свисточек — рябчиков манить — цел. Отдам Костромину, А что же еще? Что изменилось?

Две девочки вдруг вышли из тайги. Я сразу узнал, что это костроминские девочки. Отцовские глаза, синие, ясные, только поживей, чем у отца, мигом обежали меня, мой костерок, мой котел и мое ружьишко. Тонко прочерченные длинные брови унаследованы от матери-алтайки.

Чудесно было видеть, как девочки вдруг появились из огромной пустой тайги, в платочках, в драных ботинках, подошли к костру и сказали:

— Здравствуйте. Мы вас узнали. Вы у нас за прошлый год были. Папа говорил, что вы приедете.

— Девочки, — сказал я, — милые, — но как же нам пробраться к вашему папе?

— А вон здесь через Туулук есть тропа. Мы каждую субботу домой ходим. Мы в школе учимся в Айре, там и живем в интернате.

Я не стал хлебать свой жидкий гречневый суп. Мы отправились тропой на Туулук. Тропа в самом деле тянулась кверху. Ее можно было пощупать ногой там, где весна разъела снег. Но весне очень трудно было добраться до Туулука. Гора оцетинилась всеми своими пихтачами и кедрами.

Девочки смело засовывали ботиночки в снег, вытаскивали их оттуда и засовывали снова. Серые их чулки стали коричневыми от влаги, а ладошки, которые тоже приходилось засовывать в снег, чтобы не упасть, зарделись.

Свистели рябчики. Я достал свисток и тоже принялся свистеть, как рябчик. Серые краснобровые птахи слетелись на мой свист. Они сели на ветках и отвечали с нежностью, с призывом. Они хотели любви, необыкновенной, птичьей. У них в запасе была только эта весна, не могли, не хотели они понадеяться на свою любовную утеху потом, в будущем времени.

Один рябчик спрыгнул на снег и побежал ко мне, вертя клювом, глядя то одним, то другим глазом. Глаза его чернели и блестели, как капельки туши. Я сидел на палом пихтовом стволе и дул в свисток, сделанный из пули. Я вкладывал в свист свою человеческую нежность, свой призыв. Шла весна. Я вдруг почувствовал ее и обрадовался ей, как влюбленный рябчик.

Девочкам неинтересен был наш пересвист, и они ушли. Теперь надо было их догнать. Начало темнеть, и скоро стемнело настолько, что тропинка стала теряться. Она лезла в немыслимую круть, лепилась по отвесным взлобочкам, продиралась сквозь жесткий и ржавый, как колючая проволока, подлесок. Я находил ее по глубоким лункам, что оставили на снегу девочки. Это их маленькие ботинки проваливались в снег. А может, вовсе не ботинки? Может, это марал прошел?..

И вдруг поверх лунок — новый след, с круглой

пяткой, с пятью растопыренными пальцами. Медведь! Жаром меня окатило. Схлынуло... Я не совсем еще уверенно улыбнулся: да ведь это же ладошки, те самые, голые, красные от снега.

Костромин, большой, сутулый, длиннорукий старик, встретил меня у самого основания Туулукка. Здесь была обыкновенная плоская земля. Здесь можно было просто прямо стоять или просто идти. Я не удержался, похвастал, как это трудно — добраться до заимки, как я устал и измучен. Костромин ничего не сказал на это, и я вдруг вспомнил его девочек. Они ведь бегают через Туулук каждую субботу. Наверное, они уже спят?

Я протянул Костромину свисток, но он его не взял, сказал:

— Обещались вы. Я по осени ждал. Да вот ходил белковать, свистел бы попутно. А теперь сын Алешка приехал из армии, научился там из пуль делать.

Старик хоть и говорил укоряющие слова, а сам улыбался. Рад новому человеку. Он стал совсем как веселый парнишка, когда утром у его древней «тулки» обнаружился лучший бой, чем у моего «Зауэра». После выстрела старик бегом, вприпрыжку трусил по глубокому снегу к стене сарая, где была укреплена мишень — газетный лист. Он вдохнул дыма от жженого пороха, стволы похолодели ему старую небритую щеку, приклад ткнул его крепко в плечо, и старик заволновался, заспешил на охоту.

— Пять глухарей, — сказал, — я вам помогу найти. — И улыбнулся своей извинительной, крот-

кой улыбкой. — Это вам как бы в награду за то, что... Да вот потрудились, пока добрались до наших мест. В расходы вошли...

— Михаил Афанасьевич, — сказал я, — мне не надо пять глухарей. Мне больше двух и не убить. Я больше двух никогда не убивал.

Костромин ответил ровным своим голосом:

— Да, это уж только так говорится. Я тоже бывало так думал. Да вот, думалось, добудешь парочку и ладно. Вроде для удовольствия. А в тайге охота — это ведь большой труд. Потрудишься — и что-то надо получить за это материальное...

Шестеро суток жили мы в тайге. И всё время издалека снизу своим прохладным испытующим синим оком на нас поглядывало озеро.

Под утро горы покрывались хрустящей корочкой наста. Заря румянила корочку. Наст крошился под ногами, и льдистые его кусочки, внятно шурша, текли к озеру. Я ходил по насту, шевелил от мороза пальцами и не слышал глухарей. Может, не воспринимали мои городские уши таежных звуков, а может, глухари слышали издалека мою поступь, которую никак не удавалось скрасть, и молчали.

По вечерам мы рубили топориками палые листьяки, прямые крепкие деревья, стаскивали их к становищу — какой-нибудь суковатой пихте — и жгли жаркие, без искр костры. Затемно, в третьем часу, мы расходились по токовищу, которое тянулось на многие километры над озером вдоль прибрежной хвойной гривы. Каждую зорю старик добывал глухаря. Стыдно мне было хлебать глухари-

ную похлебку, которую варил старик. Приходилось говорить о своих делах и успехах, о тех, что остались внизу за озером, за четырьмя перевалами. Всё это так и было — и дела и успехи. Но всё это было внизу. А здесь темнеет пихтовник, в лиственничном редколесье светло.

Старик охотничал легко и добычливо. Я разговаривал с ним покровительственным голосом, чтобы скрыть смятение моих чувств. Старик же говорил всегда одинаково ровно, глуховато и тихо.

— Раньше я книжки читал. Да вот Короленко, Серафимовича... Ужасно просто переживал. Как страдали люди... А тут как-то прочитал современное. Не помню фамилию автора. Про наши места написано, а всё не так. Нету здесь таких людей. Хорошие уж очень. Seriously. Всякое в людях есть. Подумалось: может, и все писатели присочиняют, для красного словца... Да это так я. Читать-то некогда.

Раз зашел разговор о детях.

— С детьми нынче очень трудно, Михаил Афанасьевич, — сказал я. — Особенно в городе. Да возьмите вы хотя бы и свою семью. Подняли тринадцать детей, а где они? Что вы от них теперь видите?

Костромин поглядел на меня тускло, его маленькое сухое лицо было лишено какого-нибудь определенного выражения.

— Извините, — сказал, — может, это вам обидно покажется. Только я скажу, как думаю. Как это вы о детях сказали.. Я ведь живу детьми. Моя вся жизнь в них. Seriously. Да вот если бы ваши роди-

тели думали как вы, то и вас бы не было. Я так понимаю, по-человечески. Нельзя это. Конечно, у вас всё иное. А у нас свое... Хотите, охотничайте еще. Токовище вы теперь знаете. Хлеба я вам оставлю и крупы, и сахару. А мне спускаться надо. Огород пора копать.

Я вдруг увидел, почувствовал, как тайга обступила костер и заглядывает, тысячеликая, презрительная и чужая. Пронесло крепким ветром, разворошило тайгу, и снизу остро, пронзительно синё взглянуло озеро.

Захотелось объяснить старику, что это я так сказал, для красного словца. Захотелось всё поправить, вернуть. И ничего нельзя было вернуть. Выпорхнули слова, легкие, те самые, про которые сказано: «не воробей». Так и отрекся от меня в тот вечер Костромин, ушел.

Я остался, не спал, в ночь отправился на токовище. Затемно услышал глухаря и убил его. Он грузно плюхнулся и покатился под откос, мельтеша крыльями. Я покатился за ним следом, катился быстрее, чем он. Мое сердце трепыхалось, как весенний рябчик, завидевший серую подружку.

Я вернулся к костру. Он не успел еще догореть. Я повалился на пихтовые лапы, положил рядом с собой глухаря и слушал тайгу, весну и себя самого. И всё это слышал вместе. Все было хорошо. И все хорошее еще только начиналось.

Снизу на меня выглядывало озеро синим оком, потеплевшим за шестеро весенних суток, посветлевшим, поголубевшим.

---

Назавтра старик вышел проводить меня на берег и принес с собой ящик, сложенный из кедровых плашек.

— Вот, — сказал он, — возьмите. Здесь четыре глухаря. А пятого вы сами добыли. Это как я обещался в письме. Да вот что — пять глухарей помогут добыть вам. Серьезно. Чтобы поездка ваша оправдалась.

— Михаил Афанасьевич, — сказал я, едва принимая увесистый ящик. — Спасибо. Вы на меня не сердитесь. Это я так про детей. Не всерьез. Я к вам еще приеду...

— Что сердиться? У вас своя жизнь, у нас своя. Тайга для всех открыта. И озеро тоже. Охотничайте. А у нас в доме уж так заведено, что сначала о детях думаем, о работе, а потом уже о себе. Серьезно... — Старик посмотрел на меня. Глаза его синели прохладно и отдаленно.

Я взялся за весла. Вода забормотала под лодочным днищем наставительно и гневливо. Старик постоял недолго, повернулся и, прочно ступая, пошел по тропинке к дому.



**К**огда Лида проводила Петьку в армию, жизнь показалась ей конченной, а ничего-то и не было в той жизни, кроме Петьки Кошкина, формовщика из литейного, подлеца. Так думала Лида о нем в ночь после проводов: подлец.

Лиде еще не исполнилось девятнадцать. Признаться маме она не могла. Сделать аборт, как Алка Московцева сделала? Об этом Лида подумывала не раз, но до того всё представлялось стыдно и больно, что она говорила себе: «Нет, ни за что». Но и другого никакого выхода Лида найти не могла. Одно только было облегчение: «А бог знает, когда еще всё будет. Время есть».

Тут как раз в газетах писали и говорили на цеховом комсомольском собрании, что молодежь с подъемом едет на стройки в Сибирь. И на снимках так всё прекрасно: девчонки улыбаются, руками машут, цветы. Подружки на фабрике стали совсем очумелые, загорелось им: ехать! «Парней там себе оторвем и заработки, самостоятельно жить будем — всё! В первых рядах строителей коммунизма...»

«Ехать, ехать, ехать», — шептала про себя Лида. Куда, зачем — неважно. Только бы мама не узнала.

Надо решиться и ехать, а там всё новое будет. Всё.

Мама сморкалась в платочек, когда провожала Лиду в Бийск. Лиде было очень жалко маму, но она знала, что другого выхода у нее нет, уехать — и всё решится.

Городишко ей не понравился, а общежитие дали хорошее. Не хуже, чем фабрика построила на Малой Охте. Начали учиться на штукатуров. Лида ходила вместе со всеми на объект, и никто ничего не замечал. Так было почти всю зиму. Но вдруг подошло утро, когда Лида не встала с постели. Она сказала девчонкам: «Отстаньте. Не ваше дело». И не пошла на работу. Весь день лежала, смотрела в белый потолок. Даже не белый он, а как стоялая простокваша. Смотреть противно и не смотреть нельзя. В голове ни единой мысли, а только обида: «Зачем так вышло? Это всё он, а теперь и не пишет. Никому, никому, никому не нужна...» И страх: «Что же дальше? А вдруг если умру...»

Лида попробовала заплакать, но вышло так, будто кто другой лежит здесь с мокрыми глазами, вовсе не она, а ей и не жалко ничуть эту девицу, пусть плачет. Лида сильно изменилась за время работы в бригаде штукатуров. Она могла теперь сказать какому-нибудь выпившему крановщику на танцах: «А, иди ты, в гробу я тебя видала в белых тапочках». Огрубела, наверное. А может быть, самостоятельной стала. Но чем дольше она лежала одна в пустом общежитии, тем ей становилось обиднее и страшнее.

Вечером, когда еще девчонки не вернулись с

восьмого квартала, к Лиде пришла Катя Светлаева, бригадир. Катя села на Лидину кровать и спросила:

— Ну, ты чего? Заболела? В поликлинике была за бюллетенем? А может быть, тебе врача вызвать? Температура есть?

Лиде показалось противным это слово «бюллетень», что-то в нем рвотное. Все тут ходят, справочки собирают, а до человека, до нее, Лиды Поклоновой, никому, ни одному человеку дела нет. Она отвернулась от Кати и сказала нарочно гнусавым голосом:

— Обойдусь и без бюллетня.

— Ну обойдешься — дело твое. Я думала, как лучше.

Катя поднялась и пошла к двери. Сейчас совсем уйдет. Останется только потолок простоквашного цвета, только четыре коечки прибраны, в накидочках, как пирожные с кремом... А на пятой Лиде лежать. Одной-одинешенькой. Как она заревет...

— Беременная я. На седьмом уже месяце.

Катя сразу вернулась и стала гладить ее по голове и говорить тихие слова. Каждое из них в отдельности не мудрящее, но все вместе слова успокоили Лиду.

— Это ничего. Это хорошо, — говорила Катя. — Я очень люблю ребятшек. Я так хочу иметь дочку. Ты даже не представляешь, как я хочу. И ты тоже хочешь. Ты просто не знаешь. Каждая женщина хочет иметь ребенка.

Лида первый раз услышала о себе, что она женщина. Перестала плакать и сказала:

— Тебе просто. Ты всё понимаешь. Ты бригадир и вообще... Тебя все уважают. А я ужасно, ужасно боюсь. Я ничего не умею. Я за тот месяц получила двадцать шесть рублей. С меня за брак вычли...— Лида опять всхлипнула.— Прора-аб придирается. У меня ничего не-ет. Пеленки надо и всё...

— Боже мой, — сказала Катя, — неужели же ты думаешь, мы тебе не поможем? Да тебе и самой бояться нечего. Через неделю всей бригадой будем сдавать на пятый разряд. Рублей по шестьдесят все будем зарабатывать. А ты в декретный отпуск пойдешь... Что ты, Лидуха? Мы ведь не знали ничего, тебе как трудно было... А ты молодцом. На таком-то морозе... Чудачка ты. Сказала бы хоть мне. Я бы всё поняла. Я сама, знаешь, тоже... Это так по внешности все привыкли считать, что Светлаева — молоток... А я еще недавно такая дурочка была. Ничего-то в жизни не понимала... Научили.

— Чему тебя научили? Расскажи мне... — Взрослая, серьезная и таинственная судьба бригадира Кати Светлаевой показалась вдруг Лиде важнее собственной горести. Ну и что такого, что бригадир? Будто подружка, сверстница сидит на Лидиной постели... А всё-таки бригадир. И старше гораздо. Что с ней случилось? Очень захотелось Лиде узнать.

Катя рассказала ей свою жизнь. Уже не гладила Лиду по голове, не утешала и даже не глядела на нее, а только говорила шепотом.

Оказывается, Катя родом уральская. Кончила педучилище в Златоусте и поехала работать в город Псков. Поработала до первого отпуска, целый год на кефире пробавлялась, зато уж в Ленинграде купила всё, что надо, а прежде всего туфельки на тоненьких каблучках. Ходила по огромному городу, смотрела во все глаза и ждала знака внимания и любви к себе, потому что знала свою красоту: хоть не киноактриса, зато на щеках ямочки и всё остальное не хуже, чем у других. А может, еще и лучше: добротное, русское. Многим именно это и нравится в ней.

Первым оказал ей внимание стройный человек на Невском. Не очень, правда, молодой. Он подошел и спокойно, вежливо сказал:

— Прощу прощения. Вы не отдыхали в прошлом году в Ялте? Мне показалось...

— Вам показалось, — твердо ответила Катя.

У человека были широкие плечи и мужественное, усталое лицо. Он пошел рядом с Катей и скоро попросил разрешения взять ее под руку. Катя ему разрешила. Чем дольше они шли так, тем сильнее Кате нравился Невский и Ленинград, и купленные вчера туфельки, и своя необычайная жизнь в Ленинграде. К тому же этот красивый вежливый человек оказался артистом. Его театр уехал на гастроли, а он остался в городе, у него мать больная. Так он сказал Кате.

Катя поверила. Она даже в крокодила поверила. В первый вечер на танцы пошла, парень ее пригласил. Гена. Во время танца он ей сказал, что плавает в торговом флоте, только вернулся, вокруг

шарика обошел. Крокодилчика удалось привезти. Африканского. Вот он здесь недалеко живет, на такси можно доехать. Крокодил в ванне плавает. Можно поехать и посмотреть.

Катя не поехала, но о крокодилчике думала долго: вдруг Гена ошибется краном и брызнет на него кипятком?

Но артист, конечно, не чета Гене. Катя сравнивала его со всеми встречными, но таких благородных мужчин больше не попадалось. Самые красивые из встречных обязательно здоровались с артистом, а он только кривил губы.

Катя встречалась с ним трижды. Два раза они только гуляли, а на третий он пригласил ее в ресторан «Астория». Вначале ей было страшно выходить на открытое место посреди столиков и танцевать, но потом она выпила немного, и стало нестрашно, а только весело, и очень жаль было, что музыканты рано сложили свои смычки и скрипки.

Потом она вернулась к себе во Псков, пощebetала и позабыла. Во Пскове ей тоже весело было жить.

Но вдруг пришло письмо от артиста. Катя заметила в нем две орфографические ошибки, но всё равно обрадовалась и заволновалась. Артист написал ей, что любит ее. Вслед за первым письмом пришло еще одно и еще. А потом он приехал сам и привез большой коричневый чемодан. Он сказал, что жить ему без Кати нельзя. Лицо у него было такое же мужественное и правдивое, и похудело.

Он был непонятен Кате, чужой. Но, конечно, ей

нравилось, что к ней в Псков приехал такой красивый, необычайный человек. Это он к ней приехал! Вдруг он привез в своем коричневом чемодане Катютино счастье?

В гостинице для него не нашлось места, он провел ночь на вокзале. Катя не могла так сразу пригласить его в свою комнатку с тонкой дощатой дверью в общий коридор. Но заснуть ей было трудно в эту ночь. И вообще нельзя было допустить, чтобы такой человек ради нее мял свой пиджак и маялся на вокзальном диване. А в гостиницах известно, как сейчас с номерами...

Вот и пришлось Кате начинать замужнюю жизнь. На такси стали ездить с мужем, в ресторан ходить.

Потом в Ленинград поехали. И еще дальше, за Ленинград, на станцию Мельничий Ручей. Пришли к маленькой избушке на болотце. В избушке, оказалось, свекровь живет, мать артиста, и две маленькие его сестренки. А другого дома у мужа нет.

Катя удивилась, но не испугалась ни болотца, ни вздохов свекрови. Она взяла да и выполола огород, вымыла полы в избушке и научилась доить козу. Самым трудным оказалось состряпать обед, потому что нет ничего, кроме картошки на полосе. Привычный робкий голод проглядывал в глазах новых Катиных племяшек. А помочь им Кате нечем. И спрашивать она ни о чем не стала мужа. Чего же спрашивать, ведь сама не принесла в дом ни копейки.

Что-то было в доме неладно. Катя слышала раз, как муж ее назвал свою мать скверным сло-

вом. Мать ответила ему так же. Что это за муж? Что за мать? Что за жизнь? Разве так бывает в семье?

Но Катя стала членом семьи, и значит нужно помочь, поправить. Ведь люди же. Разве можно так жить?

Муж уходил по утрам, затемно, старался не разбудить ее. «Дровишки ходит пилить твой-то красавец, — сказала свекровь. — Вот до чего докатился. С огорода я не наторгую на всю ораву. Навязались кормильцы».

Катя не обиделась на свекровь. Села в электричку и поехала в Ленинград. Всего-то месяц назад она ехала в этот город впервые в жизни, глядела на спутников и дожидалась своего непременно счастья. Теперь она не видела ни одного лица, а только думала: «Скорее, скорее помочь, изменить...»

Работы по специальности она не нашла в Ленинграде. Шагала из улицы в улицу, читала все вывески на стенах. Но ни одно учреждение не нуждалось в Катиных услугах. Никому не внушал интереса ее диплом об окончании дошкольного отделения педагогического училища.

В Мельничий Ручей Катя вернулась поздно. Муж дождался ее на вокзале. Она обрадовалась ему после всех этих чужих вывесок, контор, улиц. Она, наверное, любила его. А он ей сказал... Он ей сказал, маленькой девочке Кате с ямочками на щеках... Как он посмел?

Потом извинялся. Ночью. Говорил про театр и про что-то еще. Катя слушала и верила, но всё это



теперь не имело отношения к ней, к ее беде и заботе и цели.

Она опять поехала в Ленинград. И еще раз поехала. От Московского вокзала шла к Адмиралтейству. От Адмиралтейства к Московскому. Уж ходить, так всё же лучше по Невскому. Хлопала одной дверью с вывеской, толкалась в другую.

Вдруг стала товароведом. Вдруг оказалось — хороший товаровед Катя Светлаева. Первые деньги в дом принесла. В избу на болоте. Мяса купила, красных помидоров, колбасы и масла. Праздничный обед. Поели борща и подобрили. Подружилась семья. Много ли нужно? Муж похлебал иронически борщ, потом взял «Беломор», привезенный Катей, и вдруг улыбнулся. Давно уже он курил никчемный «Бокс».

Ночью она сказала мужу:

— Знаешь, ты можешь пока поработать у нас в тресте.

Он завел о театре, о гастролях, но между прочим спросил:

— А где ваш трест помещается?

Пришел. Катя видела всё из окошка. Он долго докуривал папиросу возле дверей. Швырнул окурок...

Вышел он через десять минут. Серая его шляпа проложила себе прямую просеку посреди густо плывущих на Невском затылков — гладких, блестящих, пушистых, черных, белых, розовых.

— Ничего не вышло, Катюша, — сказала начальник отдела кадров. — У вашего мужа только пять классов образования. Я предложила его офор-

мать грузчиком на склад, он отказался. А больше я ничего не могла ему предложить. В трудовой книжке у него значится только одна профессия: грузчик. Да и то давненько это было.

Кате стало жалко, жалко своего мужа. Ну как же ему жить-то такому? Ведь он же умный. И сильный. Надо помочь... Надо из бедности, из нищенства этого вылезти. Стала подниматься в пять часов. Огород полить до работы. Обед готовить. В семь часов она бежала на поезд, а вечером скоблила полы, стирала, штопала старенькое, ветхое бельишко. Жизнь в избе на болотце вроде стала похожа на жизнь. Девчонки пооткормились. Подобрела к невестке свекровь.

Когда Катя задержалась на профсоюзном собрании, приехала ночью, муж побил ее. Она не сопротивлялась и не плакала, а только смотрела ему в лицо.

Утром она опять полола и мыла и стряпала, но вдруг поняла, что всё это ей не нужно. Никогда не будет нужно. Но она всё равно мыла. Полола...

Когда муж достал себе работу и деньги, он стал жадно пить водку. По ночам лез и бил Катю. Бил. Катя была другая, не та, что во Пскове и в Златоусте. Но она еще была девочка. У нее на работе были подружки и благодарности... Может, она бы ушла из Мельничьего Ручья.

Но забеременела. И сразу все беды, вся склока и гадость ушли от нее. Потому что это было самое главное. Она сказала мужу ласково и смущенно...

Он вытянул пять рублей и кинул в лицо Кате:  
— На! Плачу половину за аборт. Половину

пусть чувак доплачивает. К какому ты там в Питере хиляешь. Бери, сказал! Что, не берешь? Я тут ни при чем, значит? — И бил ее. Бил.

Катя пошла в больницу. Вернулась она оттуда не молодой. Из всей ее прежней жизни, из доброты и стойкости, и нежности выросла одна только ненависть к человеку с широкими плечами — к мужу. И одно желание — бежать, забыть. Спасись.

Вот так и появилась у нее в сумочке красная книжица — комсомольская путевка на стройку в сибирский город Бийск.

Стройка была видна и слышна из комнаты, где жила Лида Поклонова. Уже готова была грянуть весна. Слышно было, как далеко, за городской переправой рвут лед на Бие. У радиолы малохольный весенний голос...

Бригадир лучшей на стройке бригады штукатуров Катя Светлаева сидела у Лиды на кровати. Была Катя молодая и крепкая.

— Знаешь, Лида, что для меня значит стройка? Я ведь тут жить начала заново. Я никогда не знала по-настоящему ни работы, ни людей, ни жизни — ничего. А теперь, знаешь, как мне хорошо вместе с людьми на такой стройке!..

Катя взяла с тумбочки зеркало, поводила перед ним носом:

— Ничего еще девка, верно? В самом соку. Ничего, Лидка, еще не таких оторвем себе женихов! Вот увидишь.

Лида хотела было рассказать, как у нее всё по-

лучилось с Петькой, но тут ввалились в комнату перемазанные в известке девчонки с восьмого квартала.

Лялька родилась в мае. Так ее окрестили всей бригадой: Лялька. На обзаведение Катя взяла в профкоме тридцать рублей. Купили ванну, пеленки и керогаз. На коляску и одеяло Катя пустила собственную апрельскую получку.

Крестины справили как надо. Завели кастрюлю пельменей, заморозили, винегрета накрошили целую миску и много еще всякой всячины. Бочонок браги выдержали. Всё Катя. Жаль только, что парни пришли под градусом. Быстро они сомлели и повалились спать, пока комендантша не выпроводила. Девчонки одни плясали и пели до утра. Катя крепче всех стучала по полу каблуками.

Легли под утро. Пошептались немного — и всё. Лида Поклонова тоже заснула. Завтра воскресенье.

Лялька проснулась в этот воскресный день первой в общежитии. Она глянула на потолок и заплакала, пожаловалась на свои первые обиды.

Катя ее утешила, а Лида, мамаша, спала себе. Катя понесла Ляльку по длинному, пустому и гулкому коридору. Лялька притихла. Катя спела ей песню. Никем еще не петую, свою песню. Положила Ляльку рядом с собой на кровать. Заснули обе. Не слышали, как подошла Лида на цыпочках, как стояла над ними, и всё шептала, шептала. Никому неизвестно — что.

**П**очему взбунтовался старый марал? Может быть, вспомнил свою былую вольность? Но как он мог ее вспомнить? Вся жизнь зверя прошла в Шebaлинском маралосовхозе, рядом с людьми. Да он вовсе и не зверь, а домашнее животное. Его кормили сеном, поили вкусным пойлом, давали лизать соль. А вольность — разве ему мало было вольности? Ведь его никто не держал взаперти. Он бродил по горам, добывал из-под снега ягель и слышал, как поет совхозное радио. Не мог он привыкнуть к этому пению, но о побеге из совхоза не помышлял.

Почему же он взбунтовался?

Может быть, взяла свое обида на людей? Люди всякое лето загоняли марала длинными палками в тесную клетушку. Он упирался, но люди были сильнее, и самый сильный — бригадир Галактион Медведев. Конечно, марал был зверь и не знал человеческого имени, но силу и власть человека он чуял звериными ноздрями и холкой, а запах Галактионовой махорки всегда выделялся среди многоструйного табачного, человеческого духа. Марал подчинялся бригадиру, только вскидывал голову с шерстистыми пантами, да дико, злобно, но в то же время и робко косил замутневшим глазом.

...Пол в клетушке проваливался, марал повисал на дощатых решетках. Доски давили ему на

бока. Он часто перебирал ногами, но ни одно копыто не находило себе опоры. Он еще круче вздергивал голову и громко дышал, будто стонал. Висеть ему было неловко, и страшно, и больно.

Боль вдруг валилась ему на голову, будто большая рысь, и нельзя было убежать, потому что не было под ногами ни камня, ни кочки. Некого даже ударить копытом. Огромная, сильная рысь сидит на пантах и гложет...

Потом люди отпускали марала, он бегал, слепой, по загонке. Он бегал долго; день, ночь были одного цвета. Когда боль уменьшалась, когда оставался маленький, ростом с бурундучка, кусок боли, марал прижимался боком к лиственнице и стоял, и ребра его круглились от каждого вздоха.

Он опускал голову и щупал губами ягель, но не жевал его, а только прядал ушами и чувствовал нестерпимую, стыдную легкость в своей голове. Каждый год люди отымали у него панты, пора бы ему привыкнуть к этой жестокой повадке людей. Но всё же он стоял, уперев морду в ягель, и ждал, что вернется к нему гордость, и тяжесть, и сила матерого пантача. Он ждал, а была только свербящая легкость. Только комолая голова. Только стыд и тоска. Как безрогому драться осенью с пантачами? Как добыть себе подругу, мягкобокую важенку с теплым, пахучим дыханием? Как расквитаться с людьми?

Он не знал, конечно, что люди пускают в ход свою силу, эти палки и доски, и клетки от слабости своей. Они завидуют его звериной силе. Они варят из его пантов особое зелье и пьют по капле,

и каждый чувствует у себя в крови каплю его страсти и непокорности...

Если бы он знал об этом, то, конечно, не стал буйствовать.

...А кругом стояли горы. Сколько бы ни горевал старый марал, ягель щекотал ему губы своей лакомой хрусткой пряностью. Он начинал жевать ягель. А потом ему хотелось сена, и вкусного пойла, и соли. Это было сильнее, чем стыд и злоба на людей.

Лето оборачивалось грибной осенью, подосиновики вырастали вкуснее, чем сено и ягель. Листвяшки становились рыжие, как лисы. А там зима, следом за ней, едва ручьи подавали голос, падали с головы зимние сухорожки и тогда прорывались из-под шкуры к солнцу новые кровяные панты.

Чего же ему было бунтоваться?

...По первому снегу маралов погнали в урочище Бертка. Там накосили за лето сена. Сметали зароды. Не таскать же за тридцать пять километров в совхоз. Пусть маралы сами придут на кормежку. Так решили в Шебалине.

Первым в стаде шел Старый Марал. Мотал головой, сердито выдувал из ноздрей пар. Прямо перед ним на лошади ехал Галактион Медведев. Он заслонял своей большой спиной всю дорогу. Из-под шапки у него торчали сивые волосы. Марал глядел в спину бригадиру и злобился всё пуще. За последние годы шерсть у Марала отросла и стала такой же сивой, как волосы у Галактиона. Старик.

Семьсот зверей не в лад ступали по снегу, и снег шипел и тёк у них под ногами. Звери терлись друг

о дружку, шуршала шерсть. Всё это сливалось в один текучий шелест. Галактион слышал, как шелестит сзади стадо, и не оглядывался. Он знал, кто здесь вожак.

Старый Марал тоже знал. Он шел первым в стаде. Он вел стадо. Он взглядывал на едущего впереди человека кровавым глазом и презрительно фыркал.

Лиственницы давно отпыхали, теперь чернелись на белых горах, будто огарки. Совхозное радио пело вдогонку всё тише и наконец умолкло совсем. Только слышно, как маралы копытят снег, да крики едущих сзади погонщиков-кормачей...

Пришли в урочище Бертка — и того не стало, совсем тихо. За зиму Старый Марал забыл о радио, отвык от людей. Однако ночевать всякий раз приходил в загонку, а там непременно и поило и соль. Всё стадо собиралось ввечеру к пойлу. Ни один марал не оставался на ночь в тайге. Ну какие же они звери? Просто домашние животные.

...Еще не было слышно весенней воды, но снег становился день ото дня звучнее. Ночью он настел, а днем крошился, шуршал, шелестел всё сильнее. Старый Марал трогал снег своим влажным носом, студеные крупинки прилипали к ноздрям. Он слызывал их языком, а сам всё слушал, слушал...

Давно уже он перестал быть зверем.

Не надо ему было бунтовать. Люди не сделали ему худого. Ну что ж, он поделился с ними своей силой. Но ведь слабее не стал.

Пришло время идти обратно в совхоз. Погнали стадо, и первым, набычив шею, пустился Старый



Марал. Опять бригадир ему застил дорогу. Тогда он стал. И стадо тоже стало. Шелест снега утих, и ветер принес зудящий, ненавистный, как рой паутов, голос радио. Старый Марал фыркнул, а сзади загикали, закричали, замахали плетками кормачи. Стадо надвинулось на Марала. Кормачи насели вплотную. Быки и маралухи медленно, грудь в грудь, пошли дальше. Каждый зверь шел и косил глаз на Старого Марала. Может, он был единственным зверем посреди стада домашних животных?

Марал не двинулся с места и рассек надвое стадо. Вместе с ним остался стоять Галактион Медведев.

— Н-ну, пойдешь или чо ли? — сказал бригадир Маралу.

Марал глянул на человека, кинул свое тяжелое, седошерстное тело на сторону и пошел, понурясь, к сопкам.

— Ну, забунтовал, — сказал Галактион. — Всё равно ведь словим... — Поскакал вперехват. Старый Марал легко ушел от человека и от коня по целому снегу. Он поднялся далеко в горы и стоял там долго, дышал. Шерсть на его груди шевелилась.

Ночью он пришел в загонку, потому что не мог жить без сена, без соли и пойла.

Загонка поутру оказалась запертой. Недалеко стучал топор. Старый Марал поднял голову, и может, солнцем ее пригрело, а может, время пришло... Так показалось зверю: панты назрели, сейчас прынут к солнцу. В них бьется весенняя кровь, будто таймень на перекаате.

Тут появились люди, они несли большую клетку,

сбитую из жердей и досок. Открыли ворота зачонки, поставили клетку против ворот, так что уйти из загонки нельзя иначе, как в клетку. Забрался в загонку и погнали длинными палками Старого Марала, чтобы он оказался в неволе.

Не нужно было ему бунтовать.

Уперся он возле лаза в клетку. Галактион бросил палку и грудью своей, руками, всей силой налег на Марала: в неволю его, в клетку! Не смей бунтовать! Старому Маралу слышно было, как тяжело и часто дышит бригадир. Он изловчился и ударил Галактиона копытом.

Бригадир упал в снег. Но встал, без шапки, голова сивая, как ягельник. Крякнул:

— Ребята! Вязать будем, так не дастся!

Он кинулся в ноги Маралу, другие люди надели сзади. В этот раз повалился Марал. Он хватнул губами снегу и тотчас вскочил. Люди порскнули врозь. Бригадир крикнул им:

— Ребята, башку, башку ему держать надо, вались всем гамузом, язви те...

Марал еще раз отбился. Но он не был рад этой своей победе, потому что хорошо знал людей и главного их человека — Галактиона. Не верил он в свою победу.

Но залезть в клетку и отдать людям панты он не мог, потому что панты в последний раз налились молодой кровью на его старой голове. Больше не будет пантов. Не будет важенок, не будет жизни. Он знал это. Он не мог отдать свои последние панты давнему врагу — бригадиру.

А может быть, человек не враг ему?

Марал посмотрел на клетку, на толстые столбы ограды, на покрасневшее к концу дня солнце. Он присел на своих мослатых, много исходивших ногах, примерился и прыгнул и стукнул комолым лбом в кедровый столбище. Удар пришелся как раз по тому месту, где свербила кожа, где созрели готовые прыгнуть к солнцу панты. Столб не качнулся. Ноги не удержали Марала. Снег стал розоватым под его головой.

Галактион потрогал Марала, дернул его за ухо.

— Убился, — сказал он. — Сколь годов в загонке прожил, а все-таки зверь себя показал. Последний и был зверюга. А теперь пантач не тот. Куды-ы...

**Н**ачальник экспедиции Кремер с утра поехал в Падун. Сказал жене:

— Надо съездить.

Зачем — жена не спросила.

— Оттуда арбузы, я видела, вчера везли, — сказала жена. — Купи Сережке.

— Куплю.

Начальник экспедиции был худ, седоголов, голубоглаз. Жена молодая, лицо у нее простое, нос чуть припух, бровки прямые, губы так доверчиво выпячены, будто только и было им дела, что целоваться. Женские губы. Материнские губы. Доброе лицо. Она вышла на крылечко проводить мужа. Он положил ей руку на лоб. Она закрыла глаза, прижалась к ладони мужа.

— Я скоро вернусь, — сказал Кремер.

— Возвращайся. Может, на пляж еще ходим?

— Постараюсь.

Дел у Кремера не было в Падуне. Он решился взглянуть на знакомые по прошлому места. Скоро всё морем покроет. Свободный день выпал впервые за сезон. С весны нажимал комбинат, требовал скорее закончить работы в зоне затопления. «Теперь немножко полегче будет, — подумал Кремер. — Вот только площадка под лесобазу еще не доснята... Ну, это ничего. Успеем».

— Что, Виктор Викторович, низом поедем или верхом? — спросил Кремера шофер Георгий.

— Верхом давай. Новым трактом попробуем.

...До Заверняйки ехали молча, пыль жевали. На взвозе Георгий дал газу. Машина шустро полезла кверху, взобралась до вершины — и сразу стало привольно, широко.

— Вот, — сказал Георгий, — в газете читал, старинное сибирское село Заверняйка, пишут. А где тут село? Тут лагерь был. Этапы заворачивали. Потому и Заверняйка.

— Да, — отозвался Кремер как-то бесцветно, — кончилась Заверняйка, море близко.

— А то еще станция есть Турма. Переименовали бы хоть, что ли.

— Переименоуют.

— Вот было времечко. Не хуже вчерашнего. — Георгий держал баранку двумя пальцами левой руки, правил с презрительной легкостью, будто во все не руль, колесико в театральном бинокле крутил. Он достал сигарету, прижал баранку локтями, пока зажигал, сладко глотнул дыму. Сигаретка мотнулась у него во рту, как бревешко в Падунском пороге. Он загнал ее в угол, прикусил, наклонился к рулю и выставил вперед подбородок. Бритый, малиновый, здоровенный. Кепочку сдвинул на брови. Серенький в крапинку чепчик. Козырек Георгий давно отпорол.

— ...Час только, как от преферанса встали, — сказал Георгий. — Вчера сели в одиннадцать, так ни разу не поднялись. Игорь Кржановский проиграл полторы сотни. Сейчас у них там с Жанной идет

сражение на Орловско-Курской дуге. Мы у них в комнате сидели. Двадцать раз говорил: кончим. А Игорь: нет! Ну, нет дак нет. Мне лично наплевать, выиграл я, проиграл, я на карту свою амбицию ставлю. Не в рублях дело. Понятно, если бы я не мог играть, я бы не садился. Человек должен вот так вот себя держать. — Георгий стиснул правую пясть, кулак у него как сибирская дыня средней величины, в трещинках, заскорузлый. — Верно ведь, Виктор Викторович?

— Ну а кто же у вас в выигрыше? — спросил Кремер.

— Бухгалтер. Начфин. Это уже закон. Он темнить не любит. Если карта ненадежная — пасует. На мизер играет — так уж наверняка. Он всё равно как доктор экономических наук.

Машина бежала теперь по ровной возвышенности над Ангарой, тайгу тут сняли, только пни торчали окрест. Тракт пересекла ложбина с песчаными боковинами, по ней проложена железная дорога — однопутка. На переезде было узко, шли встречные МАЗы. Большие их колеса, рустованные, в крупный рубчик скаты шлепали по гравию, как плицы речных пароходов шлепают по воде.

Шофер Георгий — в экспедиции его звали Гошка — прикусил сигарету, газик нахально рванулся на занятый переезд. И проскочил было обочиной, но в узких шлагбаумных воротцах ткнулся под радиатор МАЗу. Грузовик был огромен, порывивал сдержанно и достойно. Шофер восседал за рулем недвижимо, был гораздо выше, чем Гошка, на своем разбитом сиденье.

— Морда! — крикнул ему Гошка. И еще одно, более емкое слово крикнул. Зажал в кулаках банку, будто оружие.

Шофер тронул МАЗ и бережно толкнул Гошкину машину. Газик попятился. Гошка воткнул заднюю скорость, бешено тиснул железку. Газик фыркнул и отскочил. Сполз с переезда, припал к земле; МАЗ проехал мимо, шофер даже не поглядел: маленькая помеха.

После, спустя километров пять или шесть, Гошка поставил локти на руль, чтобы можно было руками развести...

— От же бурундучье племя! Давить их некому. Ну куда лезет?

— Брось, Георгий, — сказал Кремер, — ты же сам понимаешь, что не прав. Еще проповедовал, нужно себя держать, говорил. Вот так вот держать.. — Кремер сжал и поднял кулак, костлявый, кожа тонка, лоснится и розовеет от старости. Поглядел на кулак будто с любопытством, будто позабыл о своем соседе Гошке, и уронил...

Георгий молчал километр, потом двинул чепчик с бровей повыше.

— Виктор Викторович, завернем на Короновку, я там знаю одно местечко, саранки нарвем, свезем Валентине Ильиничне.

— На обратном пути.

Кремеру не хотелось сейчас разговаривать. Не первый сезон возил его здесь Георгий. Хороший шофер, горячий, но не зарвется. Машину знает. И цену себе. Гордый парень и добрый, потому что силы много.

— Давай, Гоша, сначала в Падун заедем. А потом на эстакаду.

— Давайте. Только бы на архангела не нарваться. Таратайка у нас фестивальная. Не машина — ансамбль свиста и пляски.

Кремер любил шофера Гошку. Хорошо сидеть с ним рядом. Весь он прочный, этот мужик из Заярска, готовый жилой домина! Жить в таком доме — с достаточным хлебом и мясом и овощем, с приемником на тумбе в красном углу, с моторной лодкой под ангарским берегом, со скорой улыбкой, с лукавым почетом в соседских домах, с воскресным загулом и понеделничным хозяйским усердием.

«Заярску скоро ханá, — подумал Кремер, — тоже море будет...»

Он поглядел сбоку на шофера, увидел короткую шею, тяжелое плечо обтянуто фланелевой лыжной кофтой, а глаз утренний, чуть подсиненный.

...Въехали в только что поставленный город Комсомольск. Стены еще не успели обветриться на юру — сосновая косточка. Они белели высоко, в три этажа. Домов было много, близко к дороге и вглубь. Люди еще не въехали в город. Окошки были черны и яркие, как омуты в солнечный день.

Миновали город, Гошка прибавил ходу. Дорога теперь стала ровнее и шире — Новый Тулунский тракт. Лес еще не был срублен, посыпали навстречу сосны, а выше деревьев виднелись стрелы: экскаваторы брали гравий в карьерах. Дорога вела из древнего, острожного Братска, из временного сборно-щитового поселения к строительству Братской ГЭС. Со дна морского на краж.



— Знаешь, Георгий, — сказал Кремер, — ты чем-то похож на Гаврилу Шагина. Покойника. Был у меня такой друг. Вроде тебя здоровый мужик.

— Ну, Виктор Викторович, мне еще рано в покойники записываться.

— Да нет, я не к тому. Просто у вас есть в чем-то большое сходство.

— Да-а-а, — сказал Гошка, давя на газ, — сколько их тут осталось, бедолаг! — Он быстро взглянул на Кремера.

Но Кремер остался сидеть как был. Лицо спокойно и сухо. Молчал свой километр.

Наконец сказал:

— Нет, это не связано с Братском.

Георгий кивнул, будто только такого ответа Кремера и дожидался.

«Это связано со мной», — подумал Кремер.

— Как у тебя, Гоша, с трамблером? — спросил он. — Ты говорил, барахлит... Учти, нам предстоит длинная поездка на той неделе, в Большеокинское поедем.

— Да что, Виктор Викторович, потянет еще фестивальная таратайка.

Не хотелось сейчас Кремеру думать о трамблере, о понедельник, о поездке. Он сказал первое, что пришло. И не важен был ответ шофера. Только пусть Гошка говорит. Так легче вспоминать, думать о прошлом, чтобы про сегодня не забывать. Слышать голос сегодняшнего человека...

На этой дороге всё было Кремеру воспоминанием — бледное от зноя небо, белесый песок на отвалах, запах гари, и само слово: Заверняйка...

— В тридцать седьмом году, — сказал Кремер, не глядя на шофера, — я работал в Ондопоге директором мехлесопункта. Там была районная газета «Смычка». Однажды она вышла с такой шапкой: «Вырвем кремеровщину с корнем!»

Он произнес это слово: «кремеровщина» и усмехнулся. Привык. Когда-то его пугал сам звук этого слова, бессмысленный и зудящий, как пилой по гвоздю.

— Меня спас тогда Шагин, — сказал Кремер.

— Да-а, было времечко, — Гошка прикусил сигарету. До чего могучие челюсти у этого парня!

Но Кремер теперь не видел Гошку. Быстрый ход машины не мог уже пересилить шестеренок Кремеровой памяти. «Фестивальная таратайка» неслась, взбрыкивала передним и задним мостом, всё ближе к новому Братску. Память откатывала Кремера от этих мест всё глубже в его жизнь.

...Тогда заседала парткомиссия. Странно похоже было это судилище на потешную игру рабфаковских вечеринок. Подвешивали к потолку конфету на нитке. Вручали каждому поочередно тупые ноженки — собственность женских комнат. На глаза полотенце: иди, протянувши руки, стриги. Чик-чик!

«...Начальник Ондопожского мехлесопункта Кремер Виктор Викторович, сын кулака немецкого происхождения... — Чик-чик! — Вступил в преступную связь с Гутинским, приехавшим из Канады под видом представителя торговой фирмы, с партией моторных пил марки «Штиль». — Чик-чик!

Кремер вспомнил эту неуклюжую пилу «Штиль». Она так и не прижилась на лесопункте. Тогда был в моде лучок — легкая пила с натянутым узким лезвием, с узорным зубом. Кремер любовно подумал о лучковой пиле. У нее была отполированная крепкая рукоять и туго накрученная веревка — растяжка... Кремер даже зажмурился, с наслаждением вспомнил, как сильно и ходко он умел орудовать лучком, как точно, с азартным фырчанием пила резала древесину. Ему не хотелось расставаться с этим радостным ощущением, но он заставил себя бросить пилу, опять стал думать о заседании парткомиссии.

...Конечно, упасть бы конфетке. Представитель из области, с мучнистым, отечным от ночных бдений лицом, в черной глухой «сталинке» с узенькой белой каемкой подворотничка, сказал свое слово: «Исключить!» Нюженки верно стригнули.

Лесопунктовский движок поперхнулся. Голая лампочка на длинном шнуре быстро увяла. Стали заметны порознь накальные багровые проволочки в лампе. Всплыл белый табачный дым. Всплыли руки: голосованье.

Гаврила Шагин, секретарь Ондопожского райкома, встал в изголовье стола. Квадратный и твердый, чубчик косо приглажен на лбу, челюсти сжаты, глаза остро-синие. Он сунул руку за пазуху и вытащил красную книжку. Поднял ее как мог высоко. Движок разошелся. Багровые ниточки сплывились в ярком свеченье. Дым стал незаметен.

— Вот, — сказал Шагин и положил книжку на стол. Тут же прикрыл ее ладонью и хватко расто-

пырил короткие пальцы. — Я ручаюсь за Витьку Кремера. Партбилетом.

Что было потом? Работа. Делянки. Сплавные рейды. В тридцать седьмом году поверили партбилету Шагина. Сам Гаврила Макарыч скоро уехал работать в область. С той поры Кремер встречал его редко. После войны Шагин подарил ему свой портрет, в подполковничьей форме с тремя рядами орденских колодок. Написал наискось, на собственном подполковничьем лбу: «Витьке Кремеру — другу и побратиму».

Кремер работал после войны директором лесного комбината. В служебных, телефонных разговорах он называл секретаря обкома Шагина: Гаврила Макарыч, вы.

— Пытался я его спасти в пятьдесят первом году... — Кремер сказал это вслух, но не поглядел на шофера. — Да... Убили Шагина. Ленинградское дело.

— Ну, разве против Берии кто мог устоять?

Больше Кремер не сказал Георгию ни слова о своем друге Шагине. Он припомнил еще одну ночь.

На столе лежал портрет подполковника Шагина: «Другу и побратиму». Жена ходила по комнате и всё взглядывала на портрет, будто это взрывное оружие: и отделаться от него надо, и боязно... Первая жена Кремера. Она говорила: «Виктор! Немед-

ленно сожги всё, что связано с ним. Немедленно! Каждую минуту могут прийти с обыском...»

«Нет, — сказал тогда Кремер, — мы ничего не сожжем. Пусть будет как будет».

Утром он поехал в обком. Он не вызвал свою директорскую машину, а сел в троллейбус. Он ехал в троллейбусе первый раз за долгое время директорской жизни, и ему было ново, приятно платить ворчливой кондукторше сорок копеек. Ему было хорошо сидеть рядом с пожилым человеком в худом пиджаке. Человек медленно разворачивал газету и прочитывал ее спокойно и тщательно, как съедают рабочие люди взятый из дому обед.

Кремер успокоился в троллейбусе, хотя знал, что управлять комбинатом ему осталось недолго, что будет беда, что Шагину нельзя помочь, потому что люди, обвинившие Шагина, сами не верят в его вину. И потому особенно тверды и жестоки в своей несправедливости.

Зачем он едет?

«Я всё равно обязан это сделать, — сказал себе Кремер в троллейбусе. — Пусть будет как будет. Я обязан».

Куприянов принял его во второй половине дня. Кремер шел к нему через большой кабинет, он откинулся в кресле и ждал. Это был очень длинный путь по ковровой дорожке. Нужно было одолеть охранительный круг настороженных черных глаз Куприянова. Куприянов не верил ему и не поверит, Кремер чувствовал это, но он знал, что сделает всё, как должен сделать. Он достал свой партийный билет и положил его на стекло стола.

Куприянов тотчас вскинулся:

— Ты что, пришел мне взносы платить? — Он взял в руки билет, раскрыл, посмотрел и кинул: — Ну, что скажешь?

— Я могу поручиться званием коммуниста за Гаврилу Макарыча Шагина, — сказал Кремер. — Мы с ним работали вместе двадцать лет.

В глазах Куприянова появилось вроде бы любопытство. И усмешка. Но тут же всё подавил привычный начальнический гнев.

— Не бросайся этим, — сказал Куприянов. — Если понадобится, мы тебя сами избавим от билета. Делом Шагина занимаются органы безопасности.

Через месяц Кремера исключили из партии. Вскоре он был арестован. Обвиняли его главным образом в связи с Шагиным. Портрет шагинский был взят при обыске и приобщен к делу. Выпало Кремеру строить железную дорогу Тайшет—Лена.

Он провел в лагере два года. Потом его освободили «за отсутствием состава преступления». Домой он не поехал: в последнем своем письме, год назад оно пришло, жена писала о том, что больше не может, не верит, чтобы писем ей Кремер не посылал.

Он остался в Братске. В старом Братске, нового не было еще. Поступил съемщиком в изыскательскую партию. Метил в тайге трассы лесовозных дорог. Был молчалив, исполнительен, точен. Никто из товарищей по работе толком не знал, что он за человек.

Но, конечно, узнали. Главный инженер проекта приехал из Ленинграда, встретил Кремера на трас-

се... «Виктор Викторович! Как же вы здесь? Вас ведь все с ног сбились, ищут». Главный инженер служил когда-то в подчинении у Кремера, начальником ОКСа на комбинате. Он сразу предложил своему бывшему директору должность спокойную и денежную: консультантом по технологии лесоочистки в зоне затопления. Кремер отказался. Ему необходима была усталость, натруженные в тайге руки, чтобы не думать и как бы не жить в сегодняшнем дне. Он еще не знал тогда, как начинать, из чего строить свой сегодняшний день. После всего, что случилось в стране.

...Через полгода главный инженер предложил Кремеру должность начальника транспортной партии. Кремер ответил: нет. Потом его вызвали в Ленинград. Разговор состоялся в кабинете директора института. «Хватит дурака валять, Виктор Викторович, — сказал директор. — С твоим производственным и административным опытом просеки рубить — это преступление. — Директор произнес слово «преступление» и осекся. Неколебимая, бодрая интонация нарушилась... — В общем, такое дело, Виктор Викторович, — у нас тут был с Иваном Робертовичем разговор... — Сидевший напротив в кресле главный инженер проекта кивнул: «Не один раз мы этот разговор заводили...» Так вот, есть мнение поставить тебя начальником экспедиции. Ты знаешь, объем работ предстоит огромный, и, будем говорить прямо, Рубашкину не вытянуть. Есть, конечно, на этот счет всякие кривотолки в институте. Ты сам понимаешь. Но сейчас времена не те. Куприянова, ты знаешь, сняли, и слыхом его не слышать.

«Нет, — сказал Кремер. — Я не готов к этому сейчас».

...«Ты непростительно глупишь, Виктор! — толковывал ему Иван Робертович вечером, у себя дома, за столом. — Ты весь увяз в своем вчерашнем дне. Ты пойми, ведь он ничего не значит. Мы живем сегодня. Нам-то с тобой надо прожить по-человечески наш сегодняшний день. Честное слово, мы себе заслужили это».

Кремер слушал и думал, что раньше начальник комбинатского ОКСа Иван Робертович Ардашевич говорил ему «вы».

«Я шагинского парнишку младшего с собой в тайгу заберу, — сказал он. — Пусть. Полезно».

А дело росло — величайшая стройка и рубка. Трещали ПЭски в тайге. Ангарские сосны пластали на белые брусья. На обочинах таежных дорог вспорхнули серебряные стрелки: «Братская ГЭС». Огромное дело!

Кремер по-прежнему ставил вешки на просеках, глядел в стекляшку теодолита, писал цифирь в пикетажном журнале: тангенсы, биссектрисы, углы. Может быть, он и тосковал, и хотелось ему другой работы. Но думать себе не разрешал. Брался, внезапно для рабочих, за топорик, рубил вместе со всеми листовку, и елку, и березняк. Но топорик тоже не помогал ему. «Скоро старость, — говорил себе Кремер. — Скоро, но не сегодня. Надо спешить. Еще есть время. Только очень надо спешить!» Он чувствовал запах большого дела и волновался.



Валя Лаврентьева, сметчица экспедиции, стала женой седому неразговорчивому угломерщику Кремеру. Она поверила ему, а поверив, почувствовала свое счастье, потому что устала от непрочной скитальческой жизни.

Где бы она ни ездила по экспедициям, всегда ей хотелось любить одного, надежного, своего человека. А люди, мужчины, все торопились. Работа повелевала им ездить, летать, плавать. Они ездили, летали, плавали. Они знакомились с женщинами и торопились. Их ни в чем нельзя было упрекнуть, потому что они хорошо исполняли свою работу.

По ночам Кремер рассказывал Вале свою жизнь. Она шептала ему:

— Вот если бы все так, если бы все друг за друга, никакому бы Берии не удалось бы столько навредить людям...

Кремера сморили наконец воспоминания и тракт, хоть новый — трясучий. Он задремал, и привиделось детство: речка Алей и отцовская лошадь Хильда. Она бредет потихоньку степью. Воз валкий, солома, и он на возу. Берег у Алея крутой и ломкий. Ступишь ногой — черствый, сохлый кусок чернозема рушится вниз. Лошадь ступает по самой кромке, боязно, сердце тоскливо сжалось, а встать, дернуть вожжами нельзя, мешает какая-то вялость и тягость в руках. Хильда всё ближе к Алею, и берег уже надломился, и воз колышется, жутко...



— Виктор Викторович! Приехали!  
«Мбримм! Мбримм!» — Георгий надавил гнусавый сигнал своей «таратайки».

Вот... Обвалился берег... Хильда... Воз... Ухнуло сердце.

— Виктор Викторович!

— Фу ты, черт! Заснул ведь.

Кремер вылез из машины. Гошка уже стоял у ограды на камне Пурсее.

— Виктор Викторович, у вас есть пятиалтынный? Говорят, надо кинуть с Пурсея. На счастье.

Кремер порылся в кармане. Лицо его было серьезно.

— Вот вся наличность. На, забирай половину.

Гошка зажал монетки в кулаке, замахнулся и сильно швырнул. Монетки порскнули врозь, сыпались вниз, пятак полетел впереди гривенника и пятиалтынного.

Кремер не размахивал руками. Он действовал скупно, всерьез. Протянул руку над оградой, разжал кулак, монеты звякнули по камню, и потом еще долго было слышно, как они летят в Ангару.

Внизу шло строительство Братской ГЭС. На Пурсее поставлены стенды. На них написано, что это «мощнейшая», «крупнейшая в мире» гидроэлектростанция. Слова были читаны прежде множество раз, слишком привычны и потому пусты.

Но здесь на камне Пурсее, над скопищем крапов, над ревом процеженной сквозь бетон Ангары с белокипенным Падунским горизонтом, слова вдруг нё показались Кремеру пустыми. Кремер и Гошка читали их долго, будто впервые, смотрели

на стройку и опять читали. «Мощнейшая в мире»... А в мире еще есть океаны. Спутники летают вокруг шарика. Есть Ницца и Ниагара. Гавана. Боулдер-Дам. Водородная бомба. Что там еще есть в мире? Это очень большое хозяйство. Мощнейшая в мире! Краны тихонько ездят по эстакаде. Сосны на камне Пурсее. Мощнейшая в мире! Другой такой нет. Все остальные слабее, мельче, не то!

— Да, Виктор Викторович, — сказал Георгий, — живем мы еще — всяко бывает, а строим здорово!

Кремера вдруг поразили эти слова: мы строим. Прислушался. Вниз поглядел.

— Да, Гоша, — сказал, — это точно, мы строим. Поехали на эстакаду.

Сидя в машине, Кремер думал об этих словах: «мы строим». «Нет, мы еще не построили этот новый мир в себе, — думал Кремер. — Но мы строим. Мы преобразимся, построив?..»

— Гоша, нас пустят на эстакаду?

— Как-нибудь, Виктор Викторович. Если Марта-вахтерша дежурит, всё будет в лучшем виде. Если Верка, та, правда, любит на себя идейности напустить, но ничего, я знаю для нее одно петушиное слово.

— Ладно, в случае чего ты машину отгонишь в сторону, пойдем пешком.

— Пешком еще и лучше, Виктор Викторович. Что нам эта таратайка?

«Мбримм!» — Георгий повестил вахтершу о своем прибытии.

**Т**У-104 идет к Ленинграду со стороны залива. День пасмурный. Ленинград открывается внизу непривычным для ленинградцев огромным и тесным каменным городом, он кажется вовсе не великим, потому что рядом с ним, сколько хватает глаз, море.

Видны острия мачт, красные каемки на трубах буксиров. Дома возле моря деревянные, крашеные, но стены и крыши потускнели в мокром воздухе, сырые от водяной пыли. Пыльными кажутся газоны и стриженные парки. Отмыты дождем, оранжево чисты дорожки.

Пасмурно.

Пассажиры тянутся к окошкам. В суতোлке трамваев, панелей и службы они забыли, что живут в морском городе. Вот она — кромка воды и земли...

Глядит в иллюминатор Роман Широков, олимпийский чемпион. Рядом с ним его тренер Сергей Герасимович Червоненко. Тренеру ничего не видать в окошко за ширококовской спиной.

У Романа расстегнут ворот нейлоновой белой рубашки, узел галстука оттянут вниз и вбок. Лицо у него резкое, как у людей, привыкших к предельному физическому усилию. Глаза светлые. В них в одно время надменность и усталость.

Сергей Герасимович седоват. У него острые точ-

ные зрачки, загорелый лоб и большие залысины. Спортменское лицо.

Он тронул Широкова за плечо, заглянул в окошко, вниз.

— Гляди, Ромочка, холодно ему там сейчас, бедняге.

Внизу, чуть различимая на темной, с белой накипью зыби показалась лодка-одиночка.

— Может быть, попробуешь в парную двойку сесть? — говорит в ухо Широкову его тренер. — С Меркуловым вдвоем поработаешь?

Широков повернулся к Червоненко:

— А, чепуха всё это, Герасимыч. Вертлюг заело. Наверное, заклинили, сволочи, перед гонкой.

Роман опять приник к иллюминатору. Но он не смотрит вниз, не хочет видеть Невку и одиночку на ней. У него скверное настроение. Он проиграл гонку на Хенлейской регате в Лондоне. Он вспоминает, как киноленту смотрит, свою жизнь.

...Вот его первый триумф. Хельсинки. Олимпийские игры. Выстроились на старте финального заезда одиночки-скифы. На майках у гребцов большие буквы — инициалы держав. Соединенные Штаты, Австралия, Польша, Югославия... Стартовый выстрел... Лодки уходят, молотят весла по воде... И вот уже Широков видит спину американца... югослава... поляка... Роман прибавляет темп. Роман ликует и всё больше ярится от чувства своей победы.

И финиш. Катит рев с трибун. Широков первый. Его, теперь не может достать ни поляк, ни югослав... Американец вовсе застрял. Роман кинул весла на воду, еще финишный створ не пересек. Подтабанил.

Повернулся к трибунам и показал им свою улыбку. И ничуть не устал. Легко ему далась победа. Его соперники всё еще машут веслами...

Когда после той, прекрасной, гонки Широков вышел на плот, тренер сказал ему: «Не надо так, Ромочка. Ты победил своей спортивной формой. Форма — наживное дело. Ты еще не знаешь, что такое соревнование воли. Жми до конца, Ромочка! Даже в легкой гонке жми до конца... Ну, поздравляю тебя, — сказал тогда Сергей Герасимович. — Ты еще сам, наверно, не понимаешь, как это отлично, что ты сделал. Для всех нас отлично. Для команды. Для Советского Союза».

Это всё было давно. Широков вспомнил и хотел подольше пожить прежним, но не смог удержать воспоминание, потому что два дня назад он проиграл в Хенлее. Он трясет головой, чтобы отогнать прочь Хенлей...

Он первым ушел со старта. Он, как во всех своих гонках, скоро увидел спины противников, но к середине дистанции спины приблизились. Он прибавил темп, но противники навалились еще ближе. Они шли уже вровень с ним, и он не мог понять, почему так случилось. И теперь он не мог этого понять. Ушел вперед англичанин... Потом югослав... За двести метров до финиша Широков обернулся. Он знал, что этого делать нельзя, но обернулся, потому что весла не уносили его вперед, а последним, даже вторым, он не бывал еще ни разу в жизни. Растерялся. Бросил грести до финиша... Сказал после гонки тренеру: «Вертлюг заело».

---

Гребцу на Невке и в самом деле холодно. Ветер срывает воду с лопастей весел и кидает брызги в лицо парню. Парень стискивает зубы. Зыбь колотит в бока его лодки, заплескивает через фальшборт. Лодка идет под Елагин мост. Там темно и гулко. В парке пусто. Двое спешат через мост. Парочка. Он прикрыл ее полой своего плаща. Остановились посередине моста: на самолет поглядеть. Проводили скользнувший под облаками ТУ-104. Поцеловались. Глянули вниз. Там лодка показалась из-под моста. Проводили лодку, еще поцеловались.

Гребец в одиночке-скифе тоже глядит на самолет.

По пляжу идет к воде розовоплечий и сивогрудый пенсионер в плавках. Он зашел в воду по щиколотку. Остановился. Сунул ладони под мышки. Глядит на самолет.

...В самолете вдоль кресел проходит стюардесса. Она говорит Широкову:

— Вы забыли пристегнуть себя ремнем.

— А мне это не поможет.

— Ничего другого вам предложить не могу. Будьте добры, пристегнитесь.

Стюардесса строга. Кокетство ее исполнено достоинства.

Внизу на Невке парень выгребает против волны. Он хмурится и твердит угрожающие слова:

— Ничего. Он меня еще узнает. Я у него выиграю! Пускай! Пускай. Ничего.



Парню очень ветрено на воде.

Парень подчаливает к бону гребного клуба. Вылез на плот, попрыгал: ноги зашлись.

Боцман спускается к нему. Старый, чуть хромой человек, тельняшка под пиджаком.

— И охота в такую непогодину, — говорит боцман, — на воде болтаться? Лучше бы головой поработал или еще где... Эй, на фобане! — кричит старик ребятишкам в лодке. — А ну-ка вертайтесь обратно!

Ребятишки кинули весла, но ответили не вдруг:

— А вам нас всё равно не достать! Сколько хотим — столько катаемся.

Старика будто успокоил такой ответ. Он уже больше не глядит на ребятишек.

— Ты, Паша, керосином лодку протри, — говорит он гребцу-одиночнику.

Паша выдернул из воды одиночку, несет ее на плече к эллингу, ставит на козлы.

— Широков-то как опозорился, на всю Европу. — Боцман сокрушенно и презрительно качает головой. — На Европу-то, правда, мне начхать. Вот только на репутации нашего клуба может плохо отразиться. Он ведь вон такой был, как те барсучьи дети на фобане, когда к нам в «Метеор» пришел. Я помню, как он гресть начинал учиться. Он бы в лодке и ночевать оставался, до того в нем жадность большая к академической гребле. А теперь вот ведь что вышло...

— Ничего, Василий Ильич, — как-нибудь уж поддержим репутацию. И без Широкова проживем...

---

Гоночная четверка подходит к бону. На руле — девушка маленького роста. Ее рост заметен, потому что она стоит на заднем сиденье, туго натянула постромки руля. На ней мужской плащ по щиколотку, у рта, на резиновой тесьме, дюралевый рупор.

— Третий номер, табань! — командует рулевой. — Второй, два гребка вперед!

Третий номер, Володя Рубин, мрачноватого вида парень с челкой, табанит. Второй, Севочка Лакшин, кудрявый юноша, гребет дальше. На первом номере сидит Олег Холодов, веснушчатый малый. Загребным — Герман Пушкарь, основательный человек с угловатыми надбровьями, с литыми скулами и блестящими зубами.

Лодка точно скользит бортом вдоль плота. Первым соскакивает рулевой. Командует:

— Баковые, выходи! Загребные!..

Парни подхватывают лодку, она взлетает над их плечами, лоснится ее гладкое днище.

Паша Францев охаживает свою одиночку. Ветoshь макает в баночку с керосином.

Гребцы уносят четверку в элинг, девушка в плаще не по росту подходит к Паше:

— Ты сегодня что, вокруг Петроградской ходил?

— Да нет, вокруг стадиона Кирова.

— Ой, и мы тоже вокруг стадиона. Почему же мы тебя не видели?

— Я шел на второй космической скорости. Где уж вам за мной.

— Паша, ты придешь? У меня день рождения двадцать третьего, мы у нас в общежитии будем справлять.

— С меня мало проку на именинах. Я ведь — бригада коммунистического труда. Мы все от водки зареклись во главе с бригадиром товарищем Пушкарем. У нас всё коллективное. В том числе и любовь. Вся бригада в одной лодке. Вся лодка влюблена в своего рулевого. — Паша говорит медлительно, с улыбочкой, а сам всё водит тряпкой по глянцевым бокам своей лодки.

Девушка держит в руках руль, смотрит на Пашу и просит его:

— Ты приходи, а то мы с ребятами всё вместе да вместе на воде, а ты на своей одиночке, тебя и не увидишь никогда...

Вышла из эллинга команда-четверка — крепкие парни в тренировочных костюмах. Они возбуждены, веселы после тренировки, после холодных брызг и пота. Хорошо прошлись, дружно, в четыре весла прогнали лодку вдоль кромки земли и воды, вдоль границы Ленинграда и моря.

Первый номер, самый легкий в команде, веснушчатый Олег Холодов прыгает на бону. Второй — Севочка Лакшин повлек рулевого танцевать фокстрот. Третий — Володя Рубин выпячивает губы, дает им мотив: «Ма-ри-на, Ма-ри-на, Ма-ри-на, тар-рам, тар-да-рам, та-ра-ра...» Загребной — Герман Пушкарь движется неторопливо, озабочен всем, что видит на бону, и чуть-чуть улыбается.

Боцман опять хромает к воде. Кричит:

— Эй! На фóфане! А ну-ка давай причаливай к бону!

В лодке двое мальчишек. Они не боятся боцмана.

— Мы еще поката-аемся!

— Сейчас я их на абордаж возьму. — Это Паша Францев, одиночник. Он скидывает тренировочную фуфайку и брюки, прыгает одним махом на плот и — в воду. Плывет кролем. Вот он уже забрался на фóфан. Взял весла. Мальчишки присмирели.

Гонит лодку к плоту.

— Паша, на́ плащ. Он внутри всё же теплый, согрелся. — Это рулевой, Оля Тихонцева, сняла долгополый плащ, протянула его Францеву.

— Это же Олега плащ. Его вон самого цыганский пот пробирает. — Севочка Лакшин вмешался.

Герман Пушкарь недоволен Пашиным поступком:

— Это уж лишнее, Павел. Конец месяца. Вот так вот придется вкалывать, а если вдруг простудишься?

Паша в амбицию:

— Чего-о? И купаться, что ли, по бригадному методу?

— Ну ладно, ладно, давай иди одевайся.

— Мы шли мимо ЦПКиО, там тоже один чу-дак плавает, — сообщает Севочка Лакшин.

— У того хоть шерсть на груди, как у белого медведя, ему легче. — Это Володя Рубин, третий номер.

— Идем одеваться, хлопцы, в пять часов заступать на смену. Надо еще в общежитие заехать.

Пушкарь уходит. За ним вся команда. Только Олег Холодов тихонько шагает рядышком с рулевым.

— Ты завтра в утро работаешь, Оля?

— В утро.

— Пойдем на семичасовой сеанс в «Гигант». Там «Рокко и его братья».

— Ой, что ты, у тебя же в четверг экзамен по дарвинизму... Ты сам мне говорил.

— Да ну, успею.

— В этом фильме, говорят, про бокс и про убийства. Я не люблю. Лучше двадцать третьего ко мне на день рождения приходи.

В трамвае сидят рядом гребцы — мужская четверка вместе со своим рулевым. За окошком, у трамвайного бока, частит решетка парка, можно протянуть руку и коснуться мокрых листьев на липах. Трамвай идет по дуге. Открылся чисто умытый пролет Кировского проспекта. Широко и прямо он уходит к Неве. Опять решетка сада под боком трамвая.

Остановка. В трамвай вошла женщина с дочкой. Первым подымается Пушкарь. За ним вся команда. Оля — рулевой тоже встает. Женщина машет рукой:

— Сидите, сидите, хватит ей места.

Ставит дочку коленками на скамейку.

Дочка смотрит на бегущие мимо дома, машины. Вдруг увидела лошадь, телегу на шинных колесах.

— Лошадь, лошадь, мама, настоящая лошадь!

Между телегой и трамваем протискивается красный мотоцикл. На мотоцикле Паша Францев.

Гребцам неудобно сесть после своего благородного и коллективного вставания. Но теперь они опускаются на скамейку, чтобы быть ближе к окошку, к своему товарищу, к Паше.

— Не наступи кобыле на любимую мозоль! — кричит Севочка Лакшин.

— Ему только и гоняться с тяжеловозами. — Это Володя Рубин.

— Возьми меня с собой! Паша! — просит Оля.

— Рулевого возьми!

— Он привык без руля.

— И без ветрил...

— Одиночник!

— Индивидуалист!

Паша Францев хочет обогнать лошадь. Та косятся на стрекочущий рядом мотоцикл. Возница хлопает вожжами. Закругление трамвайного пути. Паше не пробиться. Трамвай уходит от него. Четверо в восторге:

— Привет!

— К извозчику на буксир прицепляйся!

— Переходи к нам в команду, пока не поздно!

Белая ленинградская ночь. Вода в Невке маслянистая, черная. Слышен завод на берегу: сипенье пара, как ход поезда, тяжелый пристук станков, конвейеров.

Зеленые светофоры пронзительно едки в белесой мгле ночи. Ночью в городе нет машин и людей. Вода становится заметна, слышна, ее очень много — речки, каналы, Нева... Всё живое, плещется, хотя ветра нет.

А возле воды — заводы.

...В цехе горят люминесцентные лампы. Лица людей кажутся бледными от синего света, от серьезности работы.

Транспарант на стойке: «Бригада коммунистического труда Г. Ф. Пушкиря». Токари-станочники. Кажется, они разобщены, каждый наедине со своим требовательным и шумным станком.

Олег Холодов, Володя Рубин, Севочка Лакшин, их бригадир Пушкирь. Они отличаются от тех ребят, которые пританцовывали на плоту гребного клуба, а потом балагурили в вагоне трамвая. Здесь они сосредоточенны, взрослые и даже суровы. Очень велик цех. Громадны и сложны машины. Управляться с этим могут только очень серьезные люди. Мужчины.

К Пушкирю подходит мастер. Как у всех мастеров, у него торчит штангенциркуль из кармашка спецовки.

— С коленчатым валом зашиваемся, — сетует мастер.—Сегодня на летучке прикидывали так и сяк. Кутырскому накрутили хвост. Иван Павлович на нас жмет. Не вытянем — значит месячный план полетит. Нужно будет недельку сверхурочно поработать...

— Вот Кутырский и пусть горбатится. Вы что, не понимаете, у ребят ведь экзамены. Я о себе не говорю.

— Я понимаю. Ты мне не толкуй. Потом отгул все получите. Ну раз такая вышла петрушка... Терентьича и в партком вызывали. Другого выхода нет. Кто еще, кроме вас, сделает? Петьке что ли,

Гаврюшину отдавать? Нету выхода, Пушкарь. Пойми меня.

— Пусть ребята решают. Я вам обещать ничего не буду. Как ребята скажут. Только что навряд ли они согласятся...

Перерыв. Перекур. В цеховом красном уголке стучат костяшками по столу. Бригада Пушкаря села за домино.

Паша Францев читает итальянскую газету «Унита». Частенько лазает в итальянско-русский словарь.

— Проехали... — печально сознается Олег Холодов.

— Жил-был у бабушки серенький козлик... — Володя Рубин стукнул костью о стол, — и вся голова в кудряшках... — Он смотрит на Севочку Лакшина.

— Едем, — охотно соглашается Лакшин.

Пушкарь припечатывает последнюю кость, рушит всё трехколенчатое сооружение на столе...

— Придется неделю повкалывать сверхурочно, — сообщает он, как бы к слову пришлось. — С коленчатым валом зашиваются. А? Ну что, еще разок сгоняем? — Пушкарь перемешивает кости круглыми движениями руки. — Ну чего притихли? Митинговать будем — давайте митинговать. В домино играть будем — давайте в домино играть.

— Мне это, Пушкарь, не подходит. Что ж я буду на свидания ходить переутомленный на производстве? — Володя Рубин говорит несколько злое, не понять, в шутку или грозится.



— Ты можешь свидание и на другую декаду перенести, а я только год как женился. А Терентьичу если не на нас, на кого понадеяться? — Пушкарь морщится, заметно, что не хочет он спорить с Володей.

— Вот пожалуйста, — встревает Севочка Лакшин, — называется бригада коммунистического труда, а каждый думает о чем? Не о коленчатом вале, а о своей любимой женщине. Я, допустим, могу обойтись и без этого. А вот как мы экзамены сдадим, братцы-кролики?

— Отсрочку попросим, — неуверенно обещает Пушкарь.

— У Оли, у нашего рулевого, двадцать третьего день рождения, она же нас всех пригласила, всю команду... — Это Олег Холодов.

— Ну вот что, давайте кончать детский сад, — Паша подал голос, — Терентьич привык на нас отыгрываться. В начале месяца по полсмены сачковали, заготовок не было, а теперь что же получается? Экзамены все накроются. Тренировку сорвем. А через две недели «Весенний приз». Из месяца в месяц одно и то же. Это называется подчинять свои интересы интересам коллектива. С меня хватит такого коллективизма. «Бригада, бригаде, бригаду...» Я сыт этим склонением вот так вот. Что я, не человек? Не буду я ни минуты вкалывать сверхурочно.

— Это как все решат. — Пушкарь подымает голос. — Что ты такое за индивидуум?

— А вот так. Индивидуум.

---

Последняя электричка. Ее огни скользят по белой ночи без лучей и без света.

Паша Францев сидит в пустом вагоне. На Ланской в вагон валом валит народ. Кончилась смена на «Светлане». На «Красной звезде»... Против Паши садятся парень и девушка. У парня букет сирени. Он держит букет, как держат веник в банном зале на пути к парилке. Паша глядит на парня с укоризной:

— Ты зря так с цветами обходишься. Для чего ты сирень купил? Чтобы была радость вот девушке и тебе. А ты своей радостью помахиваешь, как помелом. Цветы, знаешь, как надо беречь? Они же тебе достались на какой-нибудь час. Вот так лучше будет. — Паша перевертывает букет в руке парня.

Парень слушает всё и подчиняется, а сам меняется в лице, не знает еще, как тут поступить.

Девушка, конечно, согласна с Пашей:

— Вот хоть нашелся человек, поучит тебя, как с цветами нужно...

Парень смутился, сунул нос в букет, будто надо понюхать. Сразу нашел розетку о пяти лепестках. Отдал девушке:

— На, съешь свое счастье.

Оба позабыли про Пашу.

Вагон теперь полон, и все будто знакомы, родня друг дружке. Спят. Судачат. Забивают «козла». Ночной рабочий поезд. Паша поглядывает на своих соседей по вагону и светлеет лицом. Даже улыбается чему-то. Встает, идет в тамбур.

Двое парней старательно царапают ключами по стеклу двери. На стекле написано: «Дверь откры-

вается автоматически». Это было написано. Теперь, благодаря усердию парней, получилось: «верь рыгается ароматически».

— Молодцы, — говорит Паша, — изобретатели, Кирилл и Мефодий...

Парни блудливо подаются в вагон. Дверь автоматически въезжает в стенку. Францев выходит.

Он ступает по sprыснутому дождиком гравию. Ночь вся прозрачная, пахнет сосной и сиренью, и теплым парным дождем.

Францев заходит в дом. Окон в доме много, свет есть только в двух, на втором этаже.

— Здравствуй, мама, — говорит Павел, открыв дверь в комнату с фотографиями и похвальными грамотами на стене.

— Здравствуй, сыночек.

— Я к тебе на воскресенье. С понедельника нам, наверно, по полторы смены придется стоять. Месячный план горит.

— Может быть, хватит тебе уже всех этих планов, а, Пашенька? — Женщина поднялась из-за стола. На столе у нее стола тетрадей. Женщина в очках. Учительница.

— Ты что это, мама, сочинения проверяешь? Что там нынешнее поколение пишет?

— Сейчас я тебе, Пашенька, голубцы разогрею.

— Ты меня прости, мама, я ничего не привез, прямо со смены — в электричку... Так вышло.

— Ох уж эти мне смены! Теперь у тебя и трудового стажа больше чем достаточно. Почему ты в институт на очное не подаешь?

Паша берет со стола тетрадку, читает вслух:

«Мой любимый литературный герой. Моим любимым литературным героем является герой романа Н. Островского «Как закалялась сталь» Павел Корчагин»...

— Это Коли Букатина сочинение, — говорит мать, — всё верно написано и грамотно, безусловная пятерка. Первый кандидат на медаль. А вообще-то разболтались ребятишки. Не хотят учиться. Всё равно на производство идти.

— Ну а хоть кто-нибудь что-нибудь интересное написал?

— Видишь, Пашенька, это же школа, я же им материал даю по программе.

— Я, мама, хочу в этом году на первенстве города Широкова победить, олимпийского чемпиона.

— Это что же, значит, опять будешь на своих лодках болтаться? А я-то думала, ты мне с огородом поможешь, со мной будешь жить, дома.

— Я ходил, мама, в среду, отмечался в очереди за холодильником. Теперь уже скоро я его тебе привезу.

— Да не нужен мне твой холодильник... Ой, про голубцы-то я и позабыла совсем.

Общежитие. В окно видна Невка. Вода притихла: ночь перевалила за середину. Бригада Пушкина в своей комнате. Время спать. Только бригадир еще сидит за столом, а все по кроватям.

— ...Я его беру, — бригадир рассказывает, — а он мне, значит, что-то такое по-английски... Я ему: «Ладно, ладно, ты мне хоть что говори, а по-на-

шему ты фарцовщик. Продавал свое барахло, давай-ка теперь пройдем со мной...»

— ...А я тут иду по Невскому, — Володя Рубин приподнялся на локте, — красную повязочку спрятал в карман, думаю, что я, в пионерском отряде, и так разберемся, если что... Иду мимо кафе «Север», там очередь стоит, как всегда. Все хорошего хотят... Я тоже не прочь. Только встал...

— А вот почему, почему это так? — Севочка Лакшин скинул с себя одеяло. — Почему вот сейчас белые ночи, а мы все спим, и весь город спит? Почему люди не веселятся? Почему в кафе мороженое съесть нужно в очереди стоять?

— Вот Францеву заместитель нашелся: почему да почему. — Олег Холодов ворчит. — А Францев что, совсем с завода собрался уходить?

— Что он может без завода? — Пушкарь уже на койке сидит, брюки стягивает. — Завод ему всё дал. Заработок он имеет? Имеет. Специальность получил? Пслучил. Спортом занимается? Занимается. Почет ему нужен? Почет есть. Образования хочет? Так он на курсы иностранных языков поступил. Пожалуйста...

— Ему мы нужней всего. Токарюги. — Севочка Лакшин лежит носом в потолок. Сладко щурится. Сонный уже.

— Я вам тут одно место прочитаю... — Олег Холодов долго добывает из тумбочки толстую тетрадь в клеенчатых корочках. — Вот. Я Михаила Пришвина читал, у него одно место выписал, меня заинтересовало... «...Принудительная сила общественно-го труда требует от рабочего личного поведения, и

тем самым каждому предоставляется выход в царство свободы».

— Ну, это ты загибаешь... — Пушкарь недоволен. — Что он, этот Пришвин, думал, что писал: «принудительная сила»? Кто тебя принуждает?

— Это у Пашки такая книга была: Михаил Пришвин. — Севочка встрепенулся. — Я не читал, а только смотрел. Он это место и подчеркнул, я помню...

Холодов обиделся, спрятал тетрадку в тумбу:

— Я Пришвина читал, когда еще в ремесленное училище поступал, я из Луги приехал в город, с собой всего три книжки и привез...

— ...Так вот, значит, стал я в очередь, — Володя Рубин всё о своем. — Стою. Только подошел к двери, швейцар ее на задвижку. Всё. Время кончилось. Я повязку сразу надел на рукав, стучусь к нему: «Давай-ка открывай, мы дружинники». Он, конечно, открывает, а те, что за мной, подняли хай...

— И применили к тебе принудительную силу. И ты не попал в царство свободы. А риведерчи, как бы сказал наш итальянец Паха Францев. Всё! Давайте кимарить. — Севочка натянул на себя простыню до самых кудрей.

Все спали, когда явился Францев. И весь город спал, потому что воскресенье. Павел прошел пешком от Финляндского вокзала до общежития. Он постоял на мосту и поглядел на невскую воду, как она заплескалась под первым, туманным и мягким лучом солнца.

Вахтерша дремала на своем стуле. Она не услышала Павла. Он очень осторожно снимал ботинки, чтобы не разбудить свою бригаду.

К открытию бригада Пушкаря явилась в Эрмитаж. Ее привел сюда Паша Францев. Он уверенно встал в очередь за билетами, пошел первым через контроль и дальше, с выражением верховодства и всезнания.

Рулевой Оля тоже пришла вместе с бригадой.

...Возле одной из эрмитажных колонн сидит на раскладном стуле девушка. Перед ней мольбертик. Она рисует интерьер Эрмитажа.

Павел остановился за спиной у девушки. Бригада пошла дальше, только Оля оглянулась на Павла. Францев намеренно не заметил этого взгляда, свободно и легко, так, чтобы всем было слышно, обратился к художнице:

— Что это у вас, задание такое — рисовать или так, для себя?

Художница красивая. Она не удостоила Павла особенным вниманием.

— Академическое задание по графике.

— А вы что, в Академии художеств? — Паша мнется. Вопросы, которые он задает девушке, не очень-то нравятся ему. Но других вопросов не придумать.

— Раз уж пришли в Эрмитаж, — говорит девушка, — так хоть смотрите картины. И не мешайте работать.

— А вы будете здесь весь день рисовать? — Па-

вел даже морщится, так стыдно ему говорить это. Он начал разговор, чтобы похвастаться перед бригадой и особенно перед Олей непринужденностью своих манер и равноправным положением в Эрмитаже. А теперь нельзя просто так отойти. К тому же девушка хороша, Павлу очень нравится, как она рисовала колонны.

— Идем, Францев! — Это ребята кличут издали, с лестницы.

...Вот они движутся все вместе по залам Эрмитажа. Поглядывают на картины. Остановились подле Адама и Евы. Подмигнули друг другу. Оле это неинтересно.

Олег Холодов с ней рядышком норовит.

— Вот, ребятки, такую бы жену, как там внизу, к которой Пашка приставал. — Это Севочка Лакшин мечтает. — Она бы меня рисовала, а я бы ей позировал.

— Ага. А зарплату бы вам Пушкин платил. — У Пушкиря, как всегда, трезвый взгляд на вещи.

Францев ведет бригаду рысисто из зала в зал. Он знает, что здесь нужно смотреть первым делом, а что — походя.

— Сейчас пойдем на третий этаж. Там современное искусство Запада. Гоген и Ван-Гог.

...Рафинированный ценитель искусства, несколько апopleксический, восторженный и в то же время размеренно скупой в движениях ленинградец разглядывает пасторали Ватто. Он поворачивается на слова Францева:



— Я прошу прощения, молодые люди. Э-э-э... Ван-Гог жил в основном, главным образом, в предшествующем веке.

— Не имеет значения, — говорит Паша Францев, — он более современный, чем многие наши нынешние...

— Ну-с, если угодно... — Ценитель пожимает плечами.

Олег Холодов всё же отбился от магистрального хода бригады. И Олю увлек. Они стоят у часов с павлином. Оля всему рада подивиться.

— Вот смотри, — говорит она, — тогда ни станков не было, ничего, всё вручную, а какие красивые вещи делали. Вашему бы цеху такой заказ не выполнить...

— А Пашка сегодня не ночевал в общежитии, — говорит Холодов. — Только утром пришел... Давай лучше здесь походим. Он всё на третий этаж тянет, будто больше всех понимает. Я еще когда в ремесленном учился, карикатуры в стенгазету рисовал.

— Ой, что ты, надо всем вместе держаться! Когда много народу, каждый хоть что-нибудь скажет. Так интереснее, чем просто ходить и глазеть.

Францев уже ведет бригаду по третьему этажу.

— Вот это, значит, Пикассо. Он голубя мира нарисовал... Великий художник.

— А чего тут великого-то? — Пушкарь сомневается. Он смотрит на картину, исполненную в манере кубизма. — Я бы таких красоток тоже мог на-малевать, если бы время свободное было.

Бригада Пушкаря входит в зал, где развешаны полотна Матисса. Токари не прочь посмеяться над такой живописью, но безотчетно все притихли, потому что в зале действует непонятная и властная сила цвета.

Бригада молчит, одна Оля решается вслух сказать:

— А мне нравится. Смотрите, какой у него пиджак красный. Кажется, даже загореться может.

В это время Володя Рубин пристально и близко разглядывает Ренуаровы картины.

— Ну пошли, пошли дальше. — Францев всё куда-то торопится.

Дегá нравится всем.

«Вечная весна», «Поэт и муза» Родена — это тоже по душе токарям.

В раме большого окна — Дворцовая площадь. Можно отвернуться от полотен Гогена и смотреть в окно, и это тоже искусство.

Искусство действует на ребят. Они стали задумчивы, разбрелись по залам, не торопятся.

— Мне надо на тренировку, — Францев смотрит на часы, — иначе лодку займут до вечера. Вы тут теперь сами найдете выход.

— Ой, и мне тоже надо в гребной клуб! Ты на мотоцикле поедешь? — Оля смотрит на Францева просительно, будто даже с мольбой.

— На трамвайчике я. Адью!

Он бежит по эрмитажным залам, не глядит на сокровища мирового искусства.

Художница сидит на прежнем месте. Рисует.

— Вы же, наверное, устали так много рисовать... — Паша робеет.

— А, это опять вы...

— Вы когда из Эрмитажа уходите?

— Да... я и сама не знаю. Нужно обязательно завтра сдать, а то зачета не получу.

— Так у вас же всё готово.

— А... Вот то-то и есть, что не готово.

— У меня тренировка, я академической греблей занимаюсь. Хотя вообще-то могу одну тренировку и пропустить. Или ночью потренироваться. Ночи всё равно белые. Вы когда-нибудь сидели в академической лодке?

— Не-ет. Я по уши сижу в академической задолженности. Истматчик на меня зуб имеет...

— А какой у вас любимый художник?

— Для меня важнее всего в искусстве чистый, локальный, насыщенный цвет. — Девушка не глядит на Пашу. Она говорит о высоком, об искусстве. — Я не люблю в живописи мазию: полутона, полутени... Цельный цвет... Как у Матисса. Впрочем, вам это всё непонятно...

— Почему? Я тоже Матисса люблю. И вот ребят привел... Конечно, живопись сразу не раскусишь... Вот вам бы с нашей бригадой по Эрмитажу пройти. Всё объяснить. Мы ведь простые ребята... — Паша начинает лукавить... — Токарюги... А еще

лучше бы ночью на спунинге покататься. Давайте? Я вам весь Ленинград покажу.

— О! Заманчиво. Только — я не люблю всяких рискованных предприятий. Я, знаете, человек организованный... — Девушка сдвигает брови и с видимым усилием что-то поправляет на своем рисунке. — Спунинг? Это что-нибудь вроде спиннинга? Рыбку ловить?

— Это лодка академическая. Не гоночная, а так, для учебы. Я за вами зайду сюда к шести часам. Потренируюсь сейчас и зайду. Договорились? Ответа, согласия Павел не ждет. Убегает.

Олимпийский чемпион Широков тренируется на воде. Скиф-одиночка идет по Крестовке, режет надвое гладкую речку. Следом осторожно движется катер. Тренер командует в рупор:

— Рома, дорабатывай корпусом! И с подъездом спешись.

...Из тесной Крестовки выгребли на большую воду. Там дожидается Широкова парень в одиной лодке.

Тренер командует:

— Сейчас пойдем до водораздела. Работай на очень спокойном подъезде. Акцентируй замедленный подъезд. Без старта пойдем. Давай...

Парень тоже зашевелил веслами. Подстроился к широковской лодке. Это Паша Францев. Гребет вровень с чемпионом.

Широков не смотрит по сторонам. Руки его, плечи, корпус — всё работает, как маховик машины.

Однако скосил глаз на соседнюю лодку... Чуть надал. Ушел вперед от Паши Францева.

Паша прибавил. Опять вровень с чемпионом... Даже опередил.

Чемпион не вытерпел.

Пошла гонка.

— Эй, одиночка! Отвалите в сторону! — Это тренер кричит Францеву. — Вы срываете план тренировки.

Паша всё впереди чемпиона. Он частит веслами изо всех сил. Широков гонит лодку. Сейчас он достанет парня. Сейчас... Паша бросает весла. Он уходит из гонки победителем...

Катер сравнялся с его лодкой.

— Вот взять бы тебя сейчас и опрокинуть к чертовой бабушке. — Тренер грозит кулаком Паше. — Тоже мне нашелся Маккензи... Молотишь веслами без толку. Ведь гребок не заканчиваешь. Вальки тянешь себе на пуп. Выше их нужно вести, выше! И на слайде егозишь... А вообще можешь грести...

Павел Францев взбегаёт по ступенькам эрмитажного подъезда, переминается, страдает в длинной очереди за билетом. Опередить, перегнать тут никого нельзя. Зато с билетом в руках он быстро опережает приверженцев искусства.

Девушки нет на прежнем месте. Только беломраморная античность. Францев рыскает, ищет. Не могла эта девушка уйти без него. Он очень торопится, в нем бьется победительная телесная радость после весел, после Крестовки и Невки, после

победы над олимпийским чемпионом Широковым.

Но художница ушла. На самом деле, почему бы ей не уйти?

Францев останавливается перед античной богиней Дианой и тупо глядит на нее. Он говорит Диане:

— Вот тебе тут просто стоять. А меня обманули. Ты-то вся каменная, а я нет.

Диана смотрит вдаль белыми выпуклыми глазами.

Францев постучал костяшками пальцев по ее полированной голени.

Тотчас явилась служительница музея:

— Молодой человек, уберите руки! Это же античная скульптура. Ей от роду три тысячи лет. Некрасиво...

— А, все они одинаковые, — говорит Францев, — что три тысячи лет назад, что сегодня... Души в них нет. В женщинах...

Он понуро бредет по Эрмитажу. Губы у него шевелятся. Какие-то плохие слова произносит Францев.

Но вдруг он видит девушку. Художницу. Она сидит подле большого окна, а за окном зимний садик, а на стене полотна древних итальянцев: торжественный мрак фона и властительная, спелая обильность нагого человеческого тела.

Францев вначале видит только девушку и замирает даже от радости, но тотчас замечает, что парень возле нее — стоит не ради итальянской живописи.

Папа тихо движется к девушке, а сам глядит на картины. Вот уже ему слышен разговор девушки с парнем...

У парня пиджак разрезан на правом бедре и на левом.

— Вы верите в любовь с первого взгляда? — говорит парень.

— Вы себя имеете в виду?

— Какое это имеет значение: я или не я? Любовь — это абстрактное понятие... Вы не были еще в ресторане «Нарва»? Очень современное заведение.

Францев в два шага покрывает расстояние от итальянского искусства до художницы. Лицо его серьезно. Он не замечает парня. Он говорит девушке:

— Ну пойдём же. Я тебя внизу искал. Пойдём. — Он глядит на нее прямо и строго. Протянул ей руку. Она еще не решилась. А времени уже нет колебаться. Потому что рука — вот она, подана. Девушка кладет свою ладонь на Пашину руку и подымается с раскладного сиденья.

Парень, сторонник любви с первого взгляда, шаркает подошвами. Он перенес свое внимание на Тициана.

Францев ведет девушку за руку к выходу. Он закинул себе на плечо ремень ее ящика-мольбертика. Несет также раскладной стул. Девушка еще как бы упирается. Ее никто не водил вот так за руку, не спросив. Но столь велика определенность Пашиной руки и походки и взгляда, что противиться этому нельзя.

Паша дружески похлопал Диану по голой голени.

— Ничего, старушка, не горюй, три тысячи лет — это тоже неплохой возраст.

...У подъезда Эрмитажа стоит Пашин мотоцикл.

— Вот мое ландо. Меня зовут Павел Францев. Токарь седьмого разряда. Член бригады коммунистического труда Германа Пушкиря. Вам достаточно этих титулов?

— Вполне. С гаком.

— Сегодня я победил в гонке олимпийского чемпиона Романа Широкова.

— О-о-о! Широков... Он к нам в Академию приходил, Скандиевскому позировал. Скандиевский его портрет писал.

— Еще видно будет, что за экстра... На Хенлейской регате он бросил весла, этот корифей...

Францев завел мотор. Мольбертик на ремешке так и не снял с плеча. Приглашает девушку:

— Садитесь. Как вас зовут?

Тарахтит мотоцикл своими двумя цилиндрами.

— Майя... Только я не знаю, как ехать на вашей таратайке. Нужно было брюки надеть...

— Ничего. Я быстро поеду...

Ходко шуршит колесами красный мотоцикл вдоль Невы. Девушка близко прислонилась к спине Паши Францева. Дворцовый мост... Академия художеств...

Паша похаживает в скверике. Ждет.

Опять они едут. Теперь уже с ними нет моль-



берта и стульчика. Майя надела голубые брючки и черный свитер...

У входа в гребной клуб они видят Широкова. На Пашу Францева Широков не посмотрел, а девушку заметил. Сел в свою «Волгу». Покатил.

— ...Василий Ильич, я спунинг возьму, — говорит Францев боцману. — Вы меня не дожидайтесь. Я когда приду, лодку поставлю и эллинг запру. Ключ у меня есть.

— Запрешь-то ты запрешь, а только как завтра утречком к станку станешь? Ведь тренировался уже. Развлекался бы лучше, или с барышней в молодежное кафе сходил.

— Так я же не один, Василий Ильич...

Боцман выходит из эллинга, видит Майю.

— Ага. Ну-ну. На спунинге — это самое милое дело... Всё-таки лодка... вода... Нужно ей отдать справедливость... Придешь, керосинчиком не забудь обтереть...

Вода черная, по ней плавают большие лунные площадки. Вода будто взбегает на берега и там светлеет. Всё белесо и зыбко. Дома на набережной, кажется, подступили вплотную к Неве.

Пыхает паром, подает признаки жизни крейсер «Аврора».

Слышно, как шаркают по набережной полуночники.

По Летнему саду свист: сторожа изгоняют тех, кому было мало для своей любви целого дня.

Черные, как пистолетные дула, нацелены в небо минареты мечети на Петроградской стороне.

Паша Францев чуть-чуть подгребает веслами. В корме сидит, держит постромки руля Майя.

— Чувствуете? — говорит Паша. — Вроде даже вода вздрагивает. Это наш завод. Я здесь работаю. А вон там наше общежитие. Вся наша бригада в одной комнате живет. Хорошие ребята. Только какие-то покорные. Привыкли, как скажут, так и жить. Вот в первой декаде заготовок не было, а сейчас накачку дали, штурмовать будем. Нужно план дожимать, чтобы сто четыре процента.

— Вы совсем как в романах Кочетова, — говорит Майя, — даже в лодке на производственные темы разговариваете.

— Это — академическая лодка. В ней целоваться нельзя, сразу перевернешься.

— А вы очень боитесь перевернуться?

— Ну что вы? Я же вообще-то на скифах хожу. Там знаете как нужно баланс держать?

Майя опускает руку в воду. Так поступают все девушки мира, когда их катают на лодках.

— Вы не очень-то макайте руку, — говорит Паша. — Это где-нибудь на озере Рица хорошо, а в Неве мазут. Рабочий город.

Майя поет. Все девушки мира, севши в лодку, поют.

— Вы хорошо поете, — говорит Паша. — Когда я стану олимпийским чемпионом, я вас возьму с собой куда-нибудь в Австралию. Мы будем кататься на пироге по Индийскому океану, вы будете петь, а кенгуру вам будут хлопать в ладоши.

— Сегодня в Эрмитаже ко мне подошел один знакомиться, уже после вас, тринадцатый или четырнадцатый по счету, не помню...

— На вас такой спрос. Вам нельзя без личной охраны. Возьмите меня к себе в личную охрану. Я буду с пижонами сурово расправляться. Я их сильно не люблю.

— А кого же вы любите? Ваша бригада вам не нравится. На пижонов вы тоже зуб имеете.

— Я люблю всё человечество. Не каждого человека поодиночке, а всех сразу. И себя самого я тоже люблю. До тех пор буду любить, пока верю в себя. Я могу сделать что-нибудь такое для человечества... Не только втулки вытачивать... Понимаете? Когда кто-нибудь поставит в спорте рекорд, это хорошо для всех людей. Пусть не каждый сможет, а всё равно будет знать, что возможности не исчерпаны, что есть еще шанс... Только нужно себя держать в руках. И обрабатывать. Человек может всего добиться... Только вот сутки коротенькие. Никак не хватает времени... Вам хорошо. Вы художница. Вы красоту создаете. И сама вы тоже красивая... Ты красивая, Майка.

— Я красивая. Ты красивый. Мы красивые. А суточки, правда, такие коротенькие. А вдруг ты не победишь олимпийского чемпиона? Что тогда с тобой будет?

— Каждый человек может сделать всё, что он хочет. Только нужно знать, чего хочешь, и очень сильно хотеть.

— У меня был один такой знакомый...

— Вы с ним в Эрмитаже познакомились?

— Да нет... Он мне еще в восьмом классе в любви объяснился. После выпускного вечера мы с ним всю ночь целовались до самого утра. Он изо всех сил хотел жениться на мне и любить вечно. Он весь такой красивый, целеустремленный, напряженный, как струнка на балалайке. Тронешь — и зазвенит. Я его любила... Он после школы уехал куда-то в Сибирь, а потом вернулся. Я его встретила на улице... Он меня познакомил со своей женой. «Это, говорит, моя жена Тоня...» А в голосе такие безнадежно трагические нотки. Я, знаешь, что-то не очень верю в потенциальных героев. Если уж герой, так пусть состоявшийся. Я люблю спокойных людей. Вытаскивает человек свои втулки, и очень хорошо...

— Это тебя надо с Олегом Холодовым познакомиться. Есть такой парень в нашей бригаде. У него и отец и мать колхозники. Он им «Смену» послал, там про нашу бригаду был очерк, так для них теперь Олег и бог, и царь, и герой. И сам он так же считает. Только вот любовные дела у него никак не налажаются...

Олег Холодов немножко упирается. Оля тянет его на Кировский мост. Вот-вот разведут мост.

— Пойдем, пойдем, — торопит Оля, — а то так и останемся здесь на всю ночь.

— Оля, — говорит Холодов, — выходи за меня замуж. Зачем тебе обязательно нужно на ту сторону? Давай еще погуляем тут.

— Бежим, бежим, у тебя ни жилплощади нет, ничего, какой же ты муж?

Кировский мост разводят. Бегут, бегут по ожившему асфальту полуночники.

Олег остался стоять. Спрятанная в чреве моста огромная разводная машина повезла Олю в сторону от него.

— В кооператив вступим, — обещает Холодов, — деньги вполне можно скопить, однокомнатную квартиру получим...

— Прыгай, прыгай скорее, ведь один останешься.

Холодов прыгнул. Бегут, торопятся...

Под мостом плывут в лодке Францев и художница Майя.

Холодов первый заметил, тотчас закричал:

— Эй! Пашка! Олечка, гляди-ка, это же Францев с девушкой на спунинге... — Очень оживился Холодов.

Оля посмотрела и вся притихла, потянула Холодова дальше:

— Бежим скорее...

...Миновали мост. Идут парком Ленина. Тут темнее, чем на открытом мосту. Совсем черные стоят липы. Памятник «Стерегущему» тоже черный. Целуются парочки на скамейках.

Оля теперь продела свою руку под руку Холодова.

— Мы с тобой хорошо будем жить, Олечка, — говорит Холодов, — я техникум кончу. Будем академической греблей заниматься, я и на баке и на загрёбе могу, а ты на руле...

Оля остановилась. Она смотрит на Холодова, и глаза у нее совсем круглые.

— Я буду на руле, а ты на баке, а как же мы будем без любви?

И заплакала. Слезы тут как тут.

...Вот они идут дальше по парку Ленина.

— Ты не думай, что любовь не придет, — говорит Холодов. — Я тоже ведь тебя не сразу полюбил. Постепенно.

Лодки тесно стоят, уткнулись носами в кромку Крестовского острова. К утру нанесло ветерок. Качнулись лодки. На каждой — шалашик из камышей. Порозовел от невидимого еще солнца лев на стрелке Елагина острова.

Майка тихонько поет. Но здесь уже кончается город, здесь уже море, и потому песня слышится далеко.

— Ты устал, Францев, — говорит Майка. — Дай я попробую погрести.

— Сейчас уже некогда, Майка. Мне к восьми на смену. Ты будешь приходить к нам в гребной клуб?

— Буду.

— Я тебя научу грести. Хоть на распашной лодке, хоть на парной.

— Я приду обязательно. Может быть, что-нибудь порисую.

— Ты, наверное, тоже устала сидеть. Ведь тут всё равно что на велосипеде. Нужно баланс держать.

— Спасибо тебе, Паша. Я никогда так помногу не пела.

Они плывут против стадиона Кирова. Солнца еще не видать, а верхушка большой чаши стадиона уже теплится, уже солнце близко. Только и есть на воде, что лодка-спунинг, да еще яхту гонит ветер-утренник к Вольному острову.

— Я в себя очень верю, — говорит Паша Францев. — Мне, в общем, достаточно времени в каждой сутках. Я могу победить и самого себя, и Широкова, и кого там еще? Только знаешь, чего мне не хватает?

— Чего же?

Паша вдруг смутился:

— Может быть, тебя... Или не тебя. Я еще не знаю... Наверное, тебя...

— Любовь с первого взгляда?

Паша поднял валёк. Лодка вильнула набок. Майка схватилась за борта.

— Вот вывалю тебя сейчас в море, и всё, — грозит Паша.

— Ну а как же ты без меня будешь? А? Как же ты без меня-то? — Глаза у Майки зеленые стали, или это свет на воде такой...

— Давай причалим сейчас к пляжу и купнемся, — предлагает Паша.

— Давай.

Лодка приткнулась к песку. Пляж пустой. Один только сивогрудый пенсионер машет руками. Зарядку делает.

...В двух соседних раздевальных кабинках видны ноги. Майкины и Пашины ноги. Они переступают пути одёжек.

Майка и Паша сходятся возле воды, берутся за руки, бегут... Утренняя вода гладка, никем еще не нарушена.

Пенсионер прервал зарядку. Глядит на них. Они близко-близко прислонились друг к дружке.

Майка на лавочке под липой расположилась с мольбертиком. Рисует парней, как они выносят из эллинга драгоценного дерева лодки-скифы.

Мастера спорта и нахальные юнцы третьеразрядники интересуются Майкиным рисованием.

Один подошел, с бакенбардами:

— Девушка, я могу под Пушкина позировать. Меня уже рисовали вместо Пушкина. Могу вам предложить свои услуги.

Майка только зыркнула на него.

Другой подошел, с ответственным видом. Видать, из клубного руководства.

— Вы это для себя рисуете или по заданию? Если что надо, мы вам можем оказать содействие...

— Будьте добры, отойдите немного в сторону, а то из-за вас ничего не видно.

...Есть еще молчаливые, робкие, уважительные люди, которым тоже хочется вступить в общение с Майкой, но пока еще не рискнуть. Они стоят в стороне или без нужды шмыгают мимо.



Подчалил к бону Роман Широков. Следом тренерский катер. Внимание гребного клуба сразу переместилось с Майки на олимпийского чемпиона.

Человек с бакенбардами быстро сбежал по бону к воде, подхватил ширококовское весло, помог мягко привалить бортом к плоту. Ответственный человек тоже спустился к чемпиону, поговорил с ним:

— Что, Ромочка, до Лахты сходилили?

Лицо у чемпиона малоподвижно. На нем устоялось выражение спокойствия, как бывает у всякого человека, одолевшего очень большую работу.

— А чего я на Лахте забыл?

...Тренер подошел, Сергей Герасимович.

— Всё-таки ты, Роман, не дорабатываешь корпусом. Захват у тебя полноценный, протяжка активная, а конец гребка разгильдяйский. Вот как будто певец затянул октавой, пыжится, пыжится, а не вытянуть: кишка тонка.

— Ну, Сергей Герасимович, — говорит ответственный человек, — хоть бы еще кому в мире иметь такой гребок, как у Широкова...

— Спортивная форма и техника очень высоки у Длугановича и у Маккензи. На первенстве Европы силы будут примерно равные. У кого нервишки не сдадут к финишу, тот и победит. Я потому и требую от Романа, чтобы он не позволял себе ослаблять гребок к концу. Это уже не только физическое, но и волевое усилие нужно. Волю надо тренировать.

— Длуганович — левша, — говорит Широков, — он баковым веслом перегребает, а у Маккензи папа миллионер. Ему вся эта гребля, в общем, до лампочки...

— Тут один парнишка у нас в клубе тренируется, — говорит ответственный человек, — он все ночи напролет на воде. Хочет у тебя выиграть на первенстве города.

— Видно, его девки не любят, — говорит Широков. — А то бы нашел чем поинтереснее заняться.

Он выдернул из воды скиф. Несет его на плече к эллингу. На борту лодки выведено ее имя: «Непомерность».

Майка смотрит на чемпиона.

Широков тоже ее заметил. Поставил скиф на козелки. Принялся его охаживать ветошью.

— Да я оботру, Роман Николаич... — Это боцман хочет хоть чем услужить чемпиону.

— Моя лодочка хозяина любит. Ее надо по шерстке гладить. — Широков сказал громко и поглядел на Майку. Она тотчас отвлеклась от мольбертика, взглянула на чемпиона.

...Четверка идет к бону, бригада Пушкаря.

— Баковые, табань! — командует рулевой Оля.

Пристроили лодку в эллинге и все гурьбой к Майке. Пушкарь, правда, позади всех, снисходительно усмехается. Холодов остался на бону, что-то толкует рулевому.

— Здравсте! — Это Севочка Лакшин. — Мы Пашу Францева в заливе встретили. Он в Выборг пошел или еще куда подальше. Сказал, чтобы я ему тут на берегу заместителем был. Я всегда пожалуйста.

— Мы всей командой готовы... — Это Володя Рубин выступил вперед. — Мы же ведь комсомольцы, каждый за всех, все за каждого.

— А вы не занимаетесь академической греблей? — солидно вступает в разговор Пушкарь. — Обязательно нужно заниматься академической греблей. Давайте мы вас поучим. Севочка, возьми в эллинге весло.

...Всеи бригадой сажают Майку в учебный ящик.

— Вот эта тележка называется сляйд, — учит Севочка Лакшин. — Когда заносишь весло, на ней нужно подъезжать медленно, а как захватил воду, тут уж кати вовсю.

— Ну-ка дайте я покажу. — Это Володя Рубин. — Самое трудное — научиться весло разворачивать. Вот так, смотрите... — Он отбирает у Майки весло и сильно бьет им по воде.

— Подождите вы, не все сразу. Нужно всё начинать с азов. Лопасть весла при заносе должна идти параллельно воде. Понятно? А входить в воду перпендикулярно... Ясно? — Это приступил к делу Пушкарь.

Олег Холодов не выдержал, тоже вмешался в обучение:

— Сначала надо освоить захват. Захват — это главное...

Майка сидит в ящике ироническая и старательная, и немножко смущенная. Выполняет предписания одного и другого и третьего, а толку всё нет.

— Ой, мальчишки, как же вы в одной лодке-то договариваетесь? У вас ведь у каждого своя точка зрения...

Стоит поодаль рулевой Оля. Презирает. Но в то же время и завидно ей и обидно.

Пришел на плот Широков, будто по своим де-

лам. Помялся недалеко от учебного ящика, зачем-то макнул руку в воду.

Пушкарь бросил несерьезное занятие в ящике, обратился к чемпиону. Он с ним на равной ноге: оба заслуженные люди, портреты в газете печатают...

— Что, купаться думаешь?

— Грязно. Лучше на залив съезжу. А у вас тут что, женщину решили к себе в команду посадить? Вместо загребного? — Широков, заметно, рад случаю приблизиться к учебному ящику.

— Меня они все вместе учат, с толку сбивают. Лучше бы кто-нибудь один, вот вы бы мне показали, как тут что. — Майка кокетничает.

Севочка Лакшин свистит.

— Францев проигрывает три корпуса лодки, — говорит Володя Рубин.

Олина обида удовлетворена. Она пошла прочь с плота, и Холодов следом.

На плоту пусто. Майка сидит в учебном ящике. Держит весло. Широков тоже держит это весло, по верх Майкиных рук.

— Вот так. Нужно вести валёк повыше, на грудь, — учит Широков. Он помогает Майке вести валёк куда надо. Довели. Остановились. Получилось так, будто чемпион обнял Майку, но это ничего, можно, потому что серьезное дело — спорт.

— Теперь валёк вниз, — учит Широков.

— Вы меня лишаете самостоятельности. Я хочу сама попробовать.

— Пожалуйста. Только я бы вам не советовал заниматься академической греблей. Это не женское дело. Лошадиный спорт. Женщине больше идет из лука стрелять. Я в Швейцарии был когда на первенстве Европы, видел, там, считай, что каждая третья женщина из лука стреляет.

— Что вы говорите? Как интересно! А чем же занимаются первые две?

— Поехали купаться на залив, — вдруг предлагает Широков. — Или еще куда-нибудь.

— Мне больше нравится в этом ящике.

— Ниже, ниже надо валёк вести... А теперь быстро кверху... Так поедем?

Паша Францев выгреб из устья Крестовки, кинул весла, глядит, как Широков занимается с Майкой в учебном ящике. Они как раз сообща тянут валёк Майке на грудь. Чемпион очень низко наклонился к Майке.

Францев заносит весла. Лицо у него такое, будто сейчас кулаком двинет ненавистного обидчика.

---

— Пойдемте, — говорит Широков Майке. — У меня «Волга». Вон там за оградой стоит.

— Мне еще хочется погрести.

— Я вас жду в машине.

— А вдруг вашу машину уже угнали? Я шла сюда, никакой «Волги» не видела.

— Как не видели? Она же у самых ворот.

Широков быстренько бежит по лесенке бона...  
Вернулся. От ограды машет рукой:

— Всё в порядке!

...Майка прогуливается по бону. Боцман убирает учебное весло из ящика. Ворчит для себя:

— В ящик барышень сóдят. А ящик не для того построен. Их только помани, они хоть в ящик, хоть куда...

Майка подходит к боцману:

— Вы не знаете, когда Паша Францев вернется с тренировки?

— Вернется, когда смеркнётся... У них же, барышня, соревнования двадцать первого числа. Им нужно усиленно тренироваться.

Оля слушает. Вот подошла. У нее в руках для чего-то руль припасен.

— Скажите, пожалуйста, — это Майка к Оле обратилась, — а из вашей команды уже все разошлись?

— Конечно. Они же в одной смене работают.

— А вы действительно встретили Павла Францева, он на одиночке плавает? Такой кудрявый из вашей команды сказал, что встретили...

— Встретили. — Оля чувствует превосходство над этой девицей в голубеньких брючках. — Он сказал, что еще долго будет... Сказал, чтобы я его дожидалась...

Майка глядит с удивлением на маленькую, кубоватенькую девочку — рулевого. С насмешкой глядит...

— Ну что ж... Дождитесь.

Быстро-быстро топает каблучками вверх по лесенке.

Садится в широковскую «Волгу».

Широков настраивает приемник. Ищет музыку. Нашел. Поехали.

— На залив поедем или куда-нибудь в лес?

— В самый-самый дремучий.

«Волга» катит по загородной шоссейке. Налетают встречные косяки велосипедистов. Цветет иван-чай вблизи дороги. Притулились у кромки леса желтые дощечки с напоминаниями: «Охотник! Оберегай дичь, запрещенную для отстрела!» «Собирая грибы и ягоды, не разводите в лесу костров!»

Майка помалкивает. Что бы ни было, а всё же ей нравится ехать на этой быстрой, щегольской машине рядом с известным миру человеком по ухоженной, победительно прямой и широкой дороге, мимо леса, облитого низким солнцем. Майка думает о том, как чудесно, как высоко уносит ее жизнь. Она думает о своей матери, вдруг бы та повидала ее вот сейчас, подъехать бы вот на этой «Волге» к дому в маленьком, никому не ведомом городе Никола-Палома. К дому с нахлобученной крышей. Забор уже прохудился, а ворота остались — накрепко сделаны. В воротах калитка-лазейка, толстая чугунная баранка подвешена. Мать вышла бы встретить, седенькая уже совсем, домохозяйка, и отец бы вышел, ретушер и метранпаж из районной газеты. И бабуся бы вышла... Подъехать бы и дать сигнал...

— А здесь разрешается сигнал подавать? — говорит Майка.

— Сколько хочешь. — Широков жмет на блестящий ободок сигнала. «Волга» несет по шоссе веселое и ярое ржанье, будто радостный жеребенок.

— А вы можете ездить со скоростью сто километров в час? — спрашивает Майка.

— Можно. Только опасно. Нельзя на риск идти. На первенстве Европы вместо меня некому выступить. Команда пострадает.

Стрелка спидометра гуляет от шестидесяти до восьмидесяти. А сзади вдруг красный мотоцикл. Широков видит его в зеркальце. Мотоцикл идет на обгон. Прыткая машина — ЯВА-375. Парень сидит, а к спине его девчонка прилепилась.

Вот уже мотоцикл вровень с задним сиденьем «Волги». Широков беспокоится. Ему не хочется пускать парня вперед. Стрелка на спидометре клюнула вправо. Еще правее. Рядышком с цифрой 100. Мотоцикл было завис позади, но сразу же подтянулся. Пошла гонка. Широков расставил локти, держит руль, будто это вальки весел.

Майка не глядит на Широкова. Ей виден мотоциклист. Вдруг это Паша Францев?

...Когда мотоцикл всё же опередил «Волгу» на колесо, когда стрелка спидометра перевалилась за сто, Широков бросил газ.

— Пацан... Куда лезет.

— А всё же обогнал. Как ваше спортсменское сердце выдержало такой позор?

— При чем здесь сердце? Нам направо поворачивать. К речке поедем.



Машина щупко, будто боясь замараться, подминает под колеса проселок. Выбралась в сосновую гривку, там парень, рубаха враспашку, топором разделяет лесину. Желтый щит заготовлен: «Граждане! Будьте осторожны в лесу с огнем!» У парня на груди прищпилена бляха: «Лесник».

За спиной у парня начинается зеленый спуск к рыжеющей по песчаному ложу речке.

Широков будто растерялся при виде парня... Не ждал. В глушь ехал. Свернул баранку влево. «Волга» пошла, пошла неезженной, в травах, прогалиной.

Парень поигрывает топориком, глядит вслед машине. Усмехается.

Желна залопотала. Над рекой пронесли свист турухтаны. Два поздние вальдшнепа хоркнули, пискнули над лесом. Кукушка завела свой счет, да сбилась.

Машину парню не видать: вломилась во влажную береговую заросль. Зато скоро послышалась музыка. Приемник включили.

Парень распрямился. Слушает. Щурится и улыбается. Качает головой. Всё понимает. И досадует на свою одинокую долю в этот июньский вечер. И счастлив своей работой, силой, своим лесом.

Но всё же завидно. Тюкнет топором, опять послушает. Поставил столб: «Граждане! Будьте осторожны в лесу с огнем». Махнул рукой:

— А! Всё известно. Разве хоть одна устоит перед «Волгой»...

Вдруг Майка вышла из тех кустов, где музыка. Она ступает каблуками-копытцами шатко, нетвердо по лесному песку.



Лесник во все глаза глядит на Майку. Расцвел. Майка спешит. За ромашкой присела. Парень умирает сапогами грунт у только зарытого столба. Он кивает вслед Майке и поощряет ее тихим голосом: — Давай, давай, топай, топай...

Паша Францев сидит в пивном баре, что возле Думы на Невском. Он занял место на тумбе за стойкой и уже заметно хмельной.

Справа от Паши, тоже на тумбах, сидит пара: он хорошо побрит и упитан, лет сорока, в белой сорочке, с галстуком. Она моложе, чем он. Они пиво заедают соломкой. Он строго глядит в свой бокал и говорит:

— ...Приходишь домой, садишься за телевизор. Швейцария высокоразвитая страна в техническом отношении, но там не производят телевизоров. И не ввозят. Потому что в этом видят бедствие для нации. Я когда был мальчишка, у нас на всю область был один аэроплан, и тот, кому удалось его поглядеть, считался счастливым. А теперешний мальчишка — что? Телевизор ему и зрение портит, и мозги набок скручивает.

Женщина слабо возражает:

— Ну всё же кое-что дает. К искусству приобщаются...

Мужчина не слушает. Он развивает свою идею дальше:

— У нас всё должно идти как заведено. Не так ешь. Не так сел. Не так встал. Не так поглядел. Она считает своим долгом делать мне замечания.

Я подчиняюсь установленному распорядку. Но под жизнь-то идет. Одно и то же изо дня в день. Приходишь с работы — на работе я принадлежу коллективу, — а вне работы она почему-то считает своим долгом регулировать мою жизнь. А ведь я уже далеко не мальчик...

— Конечно, вы не мальчик, — спокойно соглашается женщина.

— Девушка! — зовет Францев. — Еще две бутылки «Ленинградского!»

— Может быть, вам хватит?

— Почему вы регулируете мою жизнь? — возмущается Францев. — Я уже далеко не мальчик.

— Это последние я вам даю. Больше ничего не будет.

Пашин сосед справа тускло поглядел на Францева и отвернулся. Продолжает свое:

— Я — продукт эпохи...

— Вы — продукт эпохи, — соглашается женщина.

Паша Францев морщится и трет себе виски кулаками.

— Если ты продукт, — говорит Паша, глядя в свое пиво, — так садись в авоську! А ты тоже продукт? — Францев повернулся к левому соседу.

Слева сидит на тумбе белобровый парень с козыночкой на шее. Он крутит головой и с готовностью расцветает.

— Ай эм сейлор. Мат-рос. Финланд. Суоми...

— Я — продукт собственного духа, воли и сознания, — говорит Паша матросу. — Я — рабочий. И всё. И точка. А ты матрос. Давай с тобой выпьем.

Матрос обрадованно подставляет свой бокал под бутылку с ленинградским пивом.

Человек справа, не меняя тона, глядя в среднюю точку между своим бокалом и бокалом соседки, толкует:

— Современные моралисты утверждают в своих лекциях, что преступники вырастают преимущественно в обеспеченных семьях. А на самом деле наибольшее число пьяниц и всяческих безобразников— это рабочие. Вот полюбуйтесь на него, — человек имеет в виду Пашу, — сейчас он напьется, будет прохожих задевать, а завтра — прогул. А потом скамья подсудимых. Отбудет срок — и ставь на нем крест.

Вылезла из густеры «Волга». Радиатор у нее редкозубый, а фары желтые. Будто лицо, лупоглазое и плотоядное. Широков подрулил к леснику. Прочел надпись на вновь поставленном щите.

Глядит на лесника немного растерянно, будто участия ищет.

Лесник ликует, злорадствует:

— Девочку-то упустил? Ушла девочка?

— Никуда она не уйдет.

Широков вильнул рулем, погнал машину прочь от лесника.

...Лесник идет, глядит себе под ноги, а там на серой боровой супеси тянется козий след — цепочка лунок прошита острыми каблучками. Цепочка примята машинным следом, но не пропала.

Лесник будто звериную вязь на тропе читает. Оч

полнуется и спешит, страшится и предвкушает. Вдруг оборвалась цепочка. Видно: девушка мялась на месте, колола каблуками пяточок на дороге. И машина тут же стояла и мужские ботинки топтались.

— Коротенькая у козы стежка, — сказал лесник и плюнул.

Дальше идет понуро. Дорога размыта. Следов не видать. А вот еще сухая боровинка. Опять лунки на песке. Значит, девушка обежала стороной промоины на дороге. Козий след не пропал.

— Эй! — кричит лесник. — Держись! Будь счастлива!

Идут в обнимку по набережной Паша Францев с иностранным матросиком.

— Я ее люблю, — говорит Паша. Он останавливается, берет матроса за грудки, притягивает близко к себе. — Я ее люблю, а ей надо другое.

Матрос уже совсем пьяненький. Его мысли сейчас хоть слабо, но работают в привычном направлении:

— Гёрлз... — бормочет матрос.

Францев отпускает его и опять тянет к себе...

— Ей надо другое. Им всем надо другое. Они все — продукты эпохи.

— Йес, йес, — бормочет матрос.

Паша Францев остановился против Медного всадника, силится заглянуть Петру Первому в глаза.

Не дотянутся.

— Ты продукт эпохи? — спрашивает Францев у Всадника. — А? Или ты не продукт эпохи? Ты думаешь, я продукт эпохи?..

Гуляющие пары задерживаются поглядеть и посмеяться на разговор парнишки с Петром Первым.

К Францеву подходит чета престарелых тихоньких людей. Он в фетровой шляпе и в галстукке с большим узлом. Она в очках, а каблуки подбиты к ее черным туфлям толстые, каждый с доброе лошажье копыто.

— Молодой человек, — говорит мужчина, — вы разговариваете с Петром Первым, как разговаривал ваш ровесник в прошлом веке, петербургский чиновник Евгений. Вы помните, в «Медном всаднике»?..

— Мы с мужем из Вологды приехали в отпуск, — говорит женщина. — Как раз перед отъездом еще раз перечли «Медного всадника», здесь балет посмотрели... И вдруг такое совпадение... Вы помните, как у Пушкина это описано?

Она читает одностонно и строго, не мигая, глядит на Францева:

Кругом подножия кумира  
Безумец бедный обошел  
И взоры дикие навел  
На лик державца полумира.  
Стеснилась грудь его. Чело  
К решетке хладной прилегло,  
Глаза подернулись туманом,  
По сердцу пламень пробежал,  
Вскипела кровь. Он мрачен стал  
Пред горделивым истуканом

И, зубы стиснув, пальцы сжав,  
Как обуянный силой черной,  
«Добро, строитель чудотворный! —  
Шепнул он, злобно задрожав, —  
Ужо тебе!..» И вдруг стремглав  
Бежать пустился..

— Ужо тебе! — грозитя Паша Францев. Он не глядит на Петра. — Мы еще с тобой посчитаемся, Ромочка. Слабак...

— Конечно, если бы его сразу остановить, он бы так не напился. — Оля прибежала в мужское общежитие, докладывает бригаде Пушкаря. — А он этого иностранца напоил. Сам же тот не мог, правда ведь? Иностранца нельзя было одного бросить в чужом городе. Да еще пьяного. На Францева тоже мало надежды. Я его взяла, иностранца-то, под руку, думаю, хоть милиционеру отдам, а потом уже за Пашей побегу. Он обниматься лезет, намучилась с ним, сдала всё же... Там ему помогут.

— Ну, а Пашка-то где, паразит? Себя уронит и нас всех подведет под монастырь. — Пушкарь в большом гневе.

— Он как сквозь землю провалился. Я и на Невском его искала, и в рестораны, какие попроще, во все заглянула — нигде нет. Я прямо села на автобус, на двойку, — и сюда к вам.

— А вот завтра его надо в газетку поместить, в «Комсомольский резец». — Такая точка зрения у Олега Холодова.

— Ну, с этим не нужно торопиться. — Пушкарь крепит на рукаве красную повязку дружинника. —



Если не попадется в какую историю, не нужно на заводе огласку давать. Мы ему сами вжарим.

Володя Рубин задумчиво глядит на часы:

— А добавить-то ему всё равно уже негде.

— А ну-ка, орлы-мухоеды, вперед на запад! — Это Севочка Лакшин. — Прочешем полночный град! Изловим нарушителя спокойствия Пашу Францева!

Бригада гурьбой устремляется в дверь.

Пашу ведут под руки два дюжих дружинника. Францев рвется на волю:

— А ну пустите! Я вам что? Вы что, издеваетесь?

Дружинники молча и неуклонно справляют свою обязанность. Ведут.

— Вы что думаете, можно издеваться над рабочим человеком? Не-ет!

Паша толкает плечом левого дружинника.

Освободился. Стоит, сбывчился. Трудно дышит.

— Не смеее меня трогать!

Дружинники изловчились. Есть. Взяли Пашу. Ведут.

Большая, свежераскрашенная витрина на стене: «Они мешают нам жить». Фотография женщины. Нерезкий снимок. К фотографии пририсовано туловище, очень длинные ноги, очень тоненькие каблуки, очень узкая юбка. Подпись такая: «Раиса Иванова, кондуктор трампарка имени Бородина.

Некультурно вела себя на танцах в клубе «Уран». Танцевала стилем». Ниже стихи:

Тебе должны сказать сурово:  
Не будь стилигой, Иванова!  
Своей фамилией гордись!  
За рок-эн-роллом не гонись!

Еще фотография. Вполне пожилой человек. Заметно испуган. В макинтоше. К фотографии подрисован лежащий лев. Человек поместился на льве.

«Касьян Игнатьевич Кукушкин, уполномоченный Псковского облпотребсоюза. Был снят комсомольским патрулем со статуи льва возле Дворцового моста, куда он попал после соответствующей дозы спиртного».

Стихи такие:

Чтоб стать великим, будто Пушкин,  
Залез на льва Касьян Кукушкин.  
Но в этом плане был изъян:  
Не усидел на льве Касьян.

К фото Паши Францева пририсована большая бутылка. Будто весь он в бутылке сидит, только голова снаружи. «Павел Францев, токарь с завода «Поршень», находясь в нетрезвом состоянии, приставал к прохожим, а также пытался вступить в разговор с памятником Петру Первому на площади Декабристов. Оказал сопротивление комсомольскому патрулю».

На солнце есть протуберанцы,  
Их могут тучи заслонить,  
Но навсегда запомни, Францев,  
Что пятна с совести не смыть!

Как раз кончился рабочий день. У только повешенной витрины густо народу. Стоят довольно молодые специалисты из одного проектного института. Близорукий полковник тянется к тексту стихов. Пенсионер с тростью. Парень в ковбойке. Парень в комбинезоне. Просто юноши с хохолками. Счетный работник с портфелем. Лощеный интеллигент киношного вида. Читают. Чуть, еле заметно ухмыляются. Сдержанные люди. Ленинградцы.

Топ-топ-топ... Девушка идет по панели. Неподступная. С очень тонкой талией, в узкой юбке. Похожа на Майку. Похожа на Раису Иванову, кондуктора, как она нарисована на витрине «Они мешают нам жить». Красивая девушка проходит мимо утомившихся за целый рабочий день, а теперь занятых сатирической газетой мужчин разных возрастов.

Первыми оторвались от сатиры юноши с хохолками. Глядят на девушку восхищенно и немо. Близорукий полковник безотчетно сделал шаг к идущей девушке. Счетный работник раздвоил внимание: и сатиру нужно усвоить, и этот звук каблуков... Парень в ковбойке подмигнул парню в комбинезоне. Интеллигент повернулся к девушке медленно и откровенно. Молодые специалисты занервничали.

Женщины тоже стоят у витрины. Они теперь усерднее читают обличительные тексты. Красивая девушка поравнялась с ними. Они громче хмыкают и понимающе взглядывают друг на друга.

Тук-тук-тук... Нет девушки. Ушла.

---

В общежитии идет крупный мужской разговор. Все сидят по своим кроватям. В комнате всего-то два стула да табуретка. Оля села к Олегу Холодову. Куда же ей еще сесть?

— Меня в тот раз, когда ты завел заварушку со сверхурочной работой, предупреждали в парткоме... — Речь держит Пушкарь. — Тогда еще сказали, что Францева укоротить надо. А теперь звание коммунистического труда снимут. Это же на весь город позор, это же... Вкалывали целый квартал, как звери. И по производству, и с морально-бытовой стороны, и все учимся... На городскую Доску почета должны были занести... А теперь всем из-за одного страдать...

— Я не считаю себя виноватым, — медленно говорит Францев. — Меня повесили на доску не за то, что выпил... Я не позволю мне руки выкручивать.

— Но в этом плане был изъян, — грустно произносит Севочка, — не усидел на льве Касьян.

Никто не смеется этим стишкам.

— Снимайте с меня всякие там звания! Хватайте! Вывешивайте на стенку!

— Чего ты вопишь, как пацан? Не о тебе забота, о ребятах, о всей бригаде. — Пушкарь вроде сбавил тон.

— Все мы, любой бы из нас выпить не отказался, если, конечно, условия есть. Если хата подходящая и всё такое... Чтобы все свои. Ну вот, допустим, я женюсь, или еще что, вот первенство города выиграем, можем же мы?.. — Это Володя Рубин.

— У Михаила Пришвина есть такое высказывание. — Олег Холодов читает по своей тетрадке: — «Воздух от сжатия становится твердым, а человек от самоограничения — свободным».

— Вот и давайте. Валяйте, затвердевайте. Меня не в кокиль отливали. Я не поковка — человек. Не на станке меня делали... И не рубанком строгают... И мораль для меня — это не то, что на табличках написано... Ах, бригада комтруда, ах, какие мы правильные... Ах, план перевыполнили... А деталям на складе валяться?

— Ну, это, знаешь, не тема для дискуссии. — Пушкарь опять ярится.

— Ах, не тема? Чтобы всё шито-крыто...

— А чего тут говорить? Напился? Напился. — Это Севочка. — Все вместе принимали обязательство не пить? Принимали. Не пили? Не пили. Почему одному можно, а всем нельзя?

— Вот я и говорю... — Это Володя Рубин. — Давайте я сбегать...

— Да подожди ты об этом. — Пушкарь перебил. — Не об водке речь идет. Почему ты, Францев, не хочешь жить, как все? Мы к тебе с открытой душой, а тебе итальянского языку подавай... В Эрмитаж все вместе пошли, так ты за первой же бабой увязался...

— Ты думай, Пушкарь!.. Я тебе не позволю... Я никому не позволю... Чтобы всякий лез нечистыми руками... Что ты понимаешь в этом?.. Может, ты свои чувства потратил на баб, и все они для тебя, эти бабы, как коленчатые валы... Что ты понимаешь?.. Ладно. Хватит. Как-нибудь проживу

без вашей коллективной морали. На моем станке пусть пока Петька Рассказов работает. Больше никого не пускайте. Хороший станок. Вмиг заделают...

— А ты что, Паша, уже не будешь на нашем заводе работать? — Оля беспомощно так огляделась. — А как же ты будешь? Ой, мальчишки, ведь это я во всем виновата. Я ему сказала, что художница с Широковым уехала на машине, он и напился с горя. Она, может, и не хотела ехать...

— Ты что-то зарулилась, подружка, не на свою воду гребешь... Только и не хватало еще об этом на бригадном собрании распространяться. — Паша хоть презрительно говорит, но морщится, заметно, больно ему.

— По-моему, мы не имеем права выпустить Павла из-под нашего влияния. — Олег Холодов говорит, будто клюкву жует. — Он не сразу, но постепенно может перевоспитаться и стать человеком... Ну, а если уж решил уйти... — Похоже, такой вариант по душе Холодову.

— Да не бойся, ты, суслик, уйду...

Нет в комнате Паши Францева. Бригада пригрюнилась.

— Ну как же вы могли его отпустить? — Оля чуть не плачет.

— Вернется. — Пушкарь убежден.

— На солнце есть протуберанцы. Ушел от нас товарищ Францев. — Это Севочка.

На старте стоят академические лодки-четверки. Рулевые держатся за чалки. Чалки закреплены на быках моста. Судья-стартер на мосту.

Очень волнуется Оля. На судью глядит и на свою команду. Вожжи от руля держит, чалку держит, все шнуры перепутались. Оля не видит. Ей бы команду не пропустить.

Судья гудит в рупор:

— Первая вода, сдайте назад! Третья вода, подравняйся с соседом! Приготовься! Внимание! — Занесли весла гребцы... — Ма-арш!

Взбеленилась вода под веслами. Загомонили рулевые:

— Оп-па! Оп-па!

— Хоп-па! — Оля рычит в рупор хриплым, страшным голосом.

Лодка рванулась так сильно, что руль, привязанный к чалке, слетел с петелек, взмыл выше моста.

И пошла лодка под мощными веслами, без руля, вкось, в берег.

Унесся мимо гвалт рулевых и белые махи весел...

— Ба́ковые! — плачет Оля. — Ба́ковые! Сильнее гребок!

А что могут сделать ба́ковые? Невка поворачивает влево, а руля нет...

Команда не видит, не ведает, что случилось. Команда рубит веслами воду. Пусть рулевой следит за дистанцией...

Оля пробует рулить ладошкой. А лодка в берег, в берег заворачивает... Оля садится спиной к

команде, опускает в воду ногу вместо руля. Туфельку смыло...

Въехали в берег. Гребцы очнулись от азарта. Отчаянно глядят вслед уходящим лодкам.

— Старт берем, старт! — кричит Оля. — Первый номер, толкнись веслом.

На первом номере Олег Холодов.

— У, японский городской, — рычит первый номер, — куда смотрела, дура? У-у-у! — Слезы в его голосе.

Взяли старт.

...Уже на переделе Олин голос:

— Хрруп-пу! Хрруп-пу!

Догнали лодочный ряд.

И опять лодку вкось повело.

На гонку смотрит с берега Паша Францев. Вот он кинулся лётом вперед. Опередил лодки. Выскокчил на бон. Там парнишка в байдарке притулился к плоту.

Паша выхватил у парнишки весло. Тот не ждал. Сразу перевернулся.

— Хрруп-пу! — Оля задает своей команде такт. — Баковые, нажимай! Баковые!

Францев плывет с веслом наперерез своей бригаде.

— Олька! — кричит он. — Весло хватай! Весло!

Схватила. Правит.

Лодка прямо идет. Сейчас всех догонит. Олин голос уже не различить в общем гвалте рулевых...

Одну лодку обошли, еще одну... Времени нет. Финиш. Третье место.



Одиночки идут. Поглядеть на них сверху, как утята-хлопунцы бегут по воде, быстро-быстро шлепают крыльями. Силы много, а не взлететь.

Широков уже впереди.

Частит, торопится, нетверд в лодке Францев. Бежит вровень с ним по берегу бригада Пушкаря.

— Да-вай, Паша. Да-вай! Да-вай!

Красиво, плавно и мощно уходит всё дальше чемпион. Он первый на финише.

Вечером Олег и Оля пришли в кино.

Во всю квадратуру экрана раскинуто некое кафе. Или же некий ресторан. Некто толстый — за стойкой бара. Бармен. Некто худощавый и несчастный — по сю сторону стойки. На эстраде танц-программа, ревю, неприличное в пределах дозволенного кинопрокатом. Олег смотрит на экран. Оля смотрит на экран. Олегова рука ползет во тьме к Олиной руке. Доползла и накрыла сверху. И замерла. Некто на экране в неизбежной своей тоске хлопнул рюмку коньяку.

Олег и Оля глаз не сводят с кинофильма. Олег сжал пальцы. Оля ничего, не против. Еще сильнее сжал. Сграбастал.

Оля вдруг потянулась к Олегову уху и зашептала:

— Ты на меня сегодня в лодке так кричал. Такие слова говорил! С первого номера тебе не достать было, а если бы на четвертом сидел, так, наверное, веслом бы меня ударил. Я и не знала, что в тебе такое есть. Я думала, ты тихий.

По экрану бежит автомобиль, похожий на морскую свинку. Очень быстро сворачивает за угол, оставляет по себе дырявый ком дыма и очень громкий треск. На экране ночь. Человек в плаще выдвигается из-под ниши в свет фонаря и сумрачно смотрит вслед автомобилю.

Олег Холодов тоже смотрит вслед автомобилю. Он прижал Олину руку к своему боку и шепчет:  
— Это потому, что я тебя люблю.

Паша Францев едет на мотоцикле по ночному Приморскому шоссе. Он приторочил на багажник холодильник «Ленинград». Очень трудно ему ехать с таким непомерным для маленькой машинки грузом.

На поворотке в Солнечном Пашу остановил автоинспектор:

— И мотоцикл гробите, и холодильник страдает, хотя бы деньги пожалели, что уплочены за эту бандуру. Охота на транспорте сэкономить, а наши нервы тоже не застрахованы. Вот я вас пушу на трассу с негабаритным грузом, а сам буду тут с ноги на ногу переступать. Это всё равно что жену с приятелем в Сочи на отпуск отправить...

— Товарищ лейтенант, так я же со своим мотоциклом в законном браке. Я за него ручаюсь. Он у меня что хочешь вывезет...

Францев приобнял холодильник, несет его по говорливой лесенке на второй этаж, в материнскую комнату.

— Пашенька, — радостно, но в то же время и жалостно приговаривает мать, — ты сам здесь живи. Что же я буду одна-то прохладиться около холодильника?

— Мама, давай испытаем холодильник, я сейчас сбегаю за бутылкой вина, мы вино остудим.

— Тебе же пить нельзя, ты же в коммунистической бригаде.

— Я, наверно, уйду с завода.

— Ну и слава богу! Тебе учиться надо. Образование получить.

— Да нет же, мать, я не про то.

— А про что же?

— Я сбегаю за бутылкой...

Идет совещание районного актива. На сцене трибуна и президиум: три ряда стульев за столом. Председательствующий объявляет:

— Слово предоставляется директору завода «Поршень» товарищу Евлампиеву, приготовиться бригадиру коммунистического труда фабрики «Веретено» товарищу Кокоревой.

— Главная наша беда, товарищи, — говорит директор, — это текучесть кадров. Для многих квалифицированных станочников работа на заводе стала сезонной обязанностью. Зимой они стоят у станка, а летом устремляются за город. Многие имеют там собственные дома или хотя бы будки наподобие собачьих конур. Дышат вольным воздухом, возделывают, понимаете, клубничку или, к примеру, настурцию.

Реплика из зала:

— Видимо, стремятся к гармоническому развитию личности.

— Она у нас вот где сидит, эта гармония, — в печенках! До чего ведь доходит дело: и молодежь на эту удочку ловится. Вот был у нас токарь Павел Францев. Думающий парень. Рационализатор. В коммунистической бригаде работал. Бросил завод. Говорят, видели его, на своем участке в пригороде грядки копает. А в свободное, так сказать, от сельского хозяйства время, рыбу по магазинам развозит...

Голос из президиума:

— Невелика потеря для завода. Францев замешан в пьянке. В районную сатирическую газету попал.

— Ну, знаете, — директор разводит руками, — сам я видал этих пьяниц, и надоели мне они, но ведь людей теряем... Где их потом подберешь?

У газетной витрины стоят люди, читают «Советский спорт». Большинство в пиджаках, но некоторые уже оделись надежней. Сентябрь. На проспекте просторно. Рабочее время. Сентябрь в Ленинграде ясен без роскошества зноя, прохладен без озноба, мускулист без юношеского томления, зрел без оглядки на прошлое. В сентябре хорошо.

В газете снимок: лодка-восьмерка на воде. Рулевой смотрит в объектив, загребной повернулся к корреспонденту и улыбнулся. Заголовок: «Быстрые весла».

Паша Францев близко подошел к газете, читает не спеша.

«...Неудачным было выступление Романа Широкова... Очевидно, сказалась недостаточная подготовка спортивных судов к этим ответственным соревнованиям...»

— Ну да, — говорит Паша, — ему нужно моторчик в скиф ставить, тогда он будет выигрывать. — Соседи понимающе глядят на Пашу...

Францев идет к обочине панели. Там стоит мотороллер с железным ящиком. На ящике написано: «рыба».

Майка идет по Невскому. Остановилась и смотрит на Пашу. Она хорошо загорела летом. Кажется, похудела.

Францев тоже глядит на нее. Они еще молчат, еще не знают ничего о том, что будет с ними через минуту. Только бы наглядеться...

— Здравствуй, — говорит Майка.

Даже такое простое слово разрушает радость незнания.

— Привет, — твердо говорит Паша.

— А я всё лето в Братске была, — говорит Майка, — столько там всякого нарисовала — прелесть. Мы туда пятеро девчонок из Академии ездили.

— Ты что, о Широкове хочешь прочесть? — говорит Паша. — Там о нем всё сказано. Добавить нечего.

— Паша, — говорит Майка, — я хочу с тобой

еще раз покатаются на спунинге. Можно, Паша, я с тобой покатаюсь?

Францев силится устоять, не поддаться этой женской обворожительной агрессии. Но он так стосковался по Майке и так он молод, что скрыть ничего не может. Лицо его выдает. Он еще пытается сопротивляться, еще презрительно выпячивает губу...

— Я тоже в газету попал. Не хуже Широкова. Есть такая газета: «Они нам мешают жить». Я вам мешаю жить... — Паша наконец не стерпел, улыбнулся...

— Я знаю, — говорит Майка, — я про тебя всё-всё знаю.

— А что ты знаешь? — Францев — настороженный человек.

— Я знаю, что тебя любит девушка, которая таким страшным голосом кричит: «Хуп-па!» — Майка складывает ладошки рупором, изображает, как кричит Оля — рулевой.

— Эта девочка, — говорит Францев, — учится грести сама, без помощи олимпийских чемпионов. Она всему в жизни сама учится. И никому не позволяет трогать себя руками в учебном ящике.

Паша идет к своему рыбному фургону. И Майка следом за ним.

— Паша, — говорит она, — ты подожди, не уезжай, не протухнет твоя рыба. Мне всё время кажется, что мы не то говорим. Не так. Не правду...

Паша оседлал мотороллер.

Утро ветреное и с дождем. Листья на кленах еще могли бы пожить, накалились бы до прозрачности, но их кидает ветер на черную воду Крестовки. Листья парусят, ходят галсами по реке.

Бон отмытый и пустой. Ворота эллинга закрыты. Пусто. Конец гребному сезону. Последнюю афишу сорвали со стенки гребного клуба, но можно еще прочесть: «Осенний приз».

Широков приехал в клуб. Он идет к эллингу медленно и, будто в первый раз, всё оглядывает. На нем синий плащ, а под плащом тренировочный костюм. Он не задерживает глаз ни на одном из предметов. Глядит, но будто и не видит вовсе ничего в отдельности.

Промокший весь, в свитере и трусах, подчалил одиночник. Паша Францев. Широков, не говоря ни слова, принял весло, бережно подвел лодку к бону.

Францев тоже молчит. Вылез из лодки, стал заглушки на вертлюге отворачивать...

— Слушай, — говорит Широков, — боцмана не видал?

— Боцмана нет.

— А ключ от эллинга у тебя?

Паша не торопится отвечать. Свитер на нем черный, обтянут, будто трикотаж заодно с телом. Поднял весла, стал меж ними, как в рамке, стоит. Ноги сухие, сильные, мышцы напряжены.

— От твоего мастерского отделения у меня ключа нет. Мы — кустари-одиночки.

Широков смотрит на Францева. Знать он его не знает. Не так уж часто говорят юнцы олимпийскому чемпиону: ты. Пусть даже экс-чемпиону. Раздумывает, как поступить: цыкнуть на мальчика или не надо... Не стóит.

— А я думал, в залив схожу. Я, еще когда учился грести, до самого льда в заливе тренировался. Каждый день километров по двадцать мотал. Там как-то мёста больше...

— Я вокруг Петроградской хожу. Всё равно одни и те же километры.

— Это конечно... Только в заливе как болтанет иногда, ведро воды в лодке привозишь.

Францев поднял лодку. Из нее хлынула вода. Широков помог ему снести лодку в элинг.

Опять спустился на плот.

— Ты что, здесь свидание назначил? — говорит Паша.

— Я после первенства Европы ни разу весла в руки не брал. Думал, вообще не возьму. А вот потянуло...

Паша удивился таким словам чемпиона. И вроде обрадовался:

— Может, на двойке пройдемся? Тут есть одно такое корыто...

— Давай. Только ты уже выходился. Заметно. Зачем тебе сейчас большая нагрузка? Сезон кончился. Над техникой работай понемножку.

— Ладно... Надо и о судьбах советского спорта подумать. Широков не тянет, а смены ему нет. Вот и вкалываем как можем.



— Ну тогда давай вкалывай. А весла для меня найдутся?

— Иди, посмотри в эллинге. — Паша кидает Широкову ключ.

Они несут вдвоем парную двойку. Обшарпана лодочка. Видала виды.

Пустили ее на воду. Сели.

— Фальшборт вон весь распорот, — говорит Широков.

— Ладно. Не на парад идем.

Гребут. Лопатки весел сшибают брызги с остро-головых маленьких волн. Свежо на воде. Рябь. Идут по Крестовке. Внизу черным-черно. Потемки.

— Вальки, вальки не задерживай! — командует Паша. — Живее выбрасывай. — Он смотрит на чемпионскую спину. Очень еще сильная спина. И руки, и шея... Всё работает ровно, и, кажется, никогда не кончиться этой работе. Станок.

Загляделся. Ритм потерял. Широков отъехал на сляйде, ткнулся в Пашины весла.

— Аккуратнее работай! Первый раз в лодку сел? — Что бы ни было, Широков серьезно относится к спорту.

Дальше идут. Францев хоть злится, а старается. Он тоже спортсмен.

— Да я что, новичок, — говорит Францев, — вот схвачу рака, перевернется лодка, а водичка, наверное, плюс десять...

— Я полста раз переворачивался, пока научился грести. В заливе в ноябре купался.

Пошли под Елагин мост.

На пляже, конечно, пенсионер в плавках... Ему необходимо поддерживать в себе затухающий тонус. Он верит в свое омоложение с помощью холодной воды.

— Упорный папаша, — говорит Францев, — его тут можно на должность статуи взять. Будет изображать какого-нибудь Зевса. Погода на него всё равно не действует.

— У статуи должна быть мускулатура как следует. А так — что это? Человек должен до старости сохранять спортивную форму.

— А он, может быть, доктор технических наук. Или просто работяга был, за станком лет тридцать подряд... О форме не позаботился.

— Это ничего не значит, что доктор. Ботвинник тоже доктор...

Приноровились друг к другу. Славно гребут. В лад. Огибают парк культуры. На стрелке каменный лев носом к морю.

Положили весла на воду. С моря гонит в устье острую рябь.

— А ты институт-то свой закончил? — спросил Паша. — Я читаю в газетах, про тебя всё пишут: студент да студент...

— Два экзамена нужно досдать и три зачета. Тогда можно диплом защищать. Не от меня же зависит. Как раз всегда совпадает: как сессия — мне на сбор ехать.

— Ну, это хорошо в институте, а если бы ты работать стал? Ты бы ведь дисквалифицировался...

Паша выпрашивает Широкова пристрастно и требовательно.

Широкова не смутишь таким допросом:

— Я добыл золотишка. Олимпийскую медаль привез. Ты что думаешь, это так просто? Команде, знаешь, как были нужны очки! И вообще, для всего государства...

— Да нет. Я не о том тебя спрашиваю. Я вот думаю, может хватить этого для человека, если он только и умеет в жизни, что веслами махать?

— Почему это махать? Если махать будет, он в сборную Союза не попадет.

Паша глядит на берег и на воду, будто прикидывает расстояние.

— Будешь выступать в гонках? — спрашивает Францев.

Широков отвечает неуверенно:

— Не знаю... Это не от меня одного зависит...

Паша вдруг давнул на валёк, лодка сыграла на бок.

Широков тотчас сбалансировал веслами. Реакция у него электронная. Не перевернешь... Обернулся:

— Не шали.

— Да вот, вертлюг заедает.

— Не приучайся свою дурость на вертлюг сваливать, не поможет.

Паша немного сконфужен. Надо как-то поправить дело.

— Ну что, до Лахтыходим? — говорит он грубо и хмуро.

— Пошли.

Грести в заливе — не то что по гладкой Крестовке: волна. Трудно грести.

У Широкова лицо неподвижно. Он не видит ни моря, ни берегов, он не думает, только пишут эллипсы вальки весел. Тело соскучилось по работе.

А Паше Францеву грести не только плохо, но даже и больно. Он страдает, потому что утомил свои мышцы, потому что не его воля в лодке и нельзя дать себе послабление. По лицу видать, как больно Паше грести.

— Повернем? — через плечо спрашивает Широков.

— Что, сдох? До Лахты хотели.

Гребут дальше.

Ветер будто заходит с тылу, чтобы отрезать лодку от островов. По воде еще нельзя судить о новой силе ветра, вода будто даже притихла, рябь прилегла. Тучу разворошило ветром, погнало, как большую стаю скворцов, над морем.

— Фальшборт рваный. По волне нельзя! — Это Широков кричит.

— Табань загребным! — командует Паша.

Он разворачивает лодку. Широков табанит.

Море расходится понемногу. Вот первый гребешок на волне забелелся. Быстро погас. Второй дольше белеется.

Лодка теперь идет к островам. Ветер бьет поперек хода лодки, сносит ее к лахтинским камышам.

Гребешок ткнулся в борт, перепрыгнул, плеснул в дыру на обшивке.

Еще плеснул. Еще...

— Держи баланс! — приказывает Широков.

Паша стиснул вальки, уперся в море веслами, как руками.

Широков тянется заткнуть дыру своей вязаной шапкой. Заткнул. Крикнул:

— Жми, как можешь!

...Ни на одной гонке не давал Широков такого темпа, как сейчас.

Большая волна вздулась рядом. Идет. Оба враз подняли вальки, поднялся борт... Волна словно подседа под лодку, лодка взлетела и скатилась по отлогому боку волны. Следом еще волна. Потопила корму. Унесла шапку-затычку.

— Держи баланс! — Широков закинул руку за спину, сгреб свой свитер и сдернул его. Опять заткнул прореху в фальшборте.

...Очень далеко стрелка Елагина острова. Ее теперь не видать вовсе, столько навесило дождя и хмурости.

Водой выхватило свитер из прорехи.

Кормовой отсек полон воды.

— Ноги освободи! — кричит Широков.

...Корму уже не видать. Огрузла. Лодка вдруг словно присела. Подержалась минуту, задравши нос, и скользнула под воду. Кормой вперед пошла. Всё круче...

Паша только принялся ремни на подножках расшнуровывать... Не успел. Вместе с лодкой нырнул под воду.

Широков остался на воде, закружил на месте.

Ветер, как налетел разом, так же быстро и утих. Прояснело. Стал виден лахтинский берег. Далеко и низко. Электричка ползет...

Францев вынырнул, видит: Широков держится за лодку руками, толкает ее перед собой. Плывет. Сильно бьет ногами по воде.

Паше становится лучше. Он догоняет Широкова. Тот оборачивается к нему:

— Ничего... Я тут в ноябре купался...

— Лодку брось! — кричит Паша. — На моторке за ней сходим!

...Электричка всё ползет, ползет по берегу. Сейчас уползет.

— Мы потонем... — Это Паша сказал. А может быть, не сказал, подумал. Только губами пошевелил. Очень больно жмет холодом, и не понять: плывешь, не плывешь. На берег сколько ни гляди, он всё такой же низкий. Чужая земля. Другая планета.

Широков плывет немного впереди, он часто оборачивается, глядит из-за плеча на Пашу. Паша кивает ему, тужится улыбнуться. Но улыбка не получается у него.

Идет занятие в академическом натурном классе. Натурщица сидит на возвышенном месте, открытая для всех студентов. Конечно, ее дозволено видеть только лишь студентам, потому что им надо знать азбуку линий, пропорций и форм. Посторон-

них и праздных нельзя допускать в натуральный класс, а если в кино показать, то нужно найти такой ракурс, чтобы присутствие натурщицы лишь подразумевалось, а на экране была видна, главным образом, серьезность работы, обучение ремеслу.

Еще не включили паровое отопление, начало сезона не объявлено. В классе холодно. Натурщица молоденькая, только начинает работать в Академии художеств. Стесняется. Капелька пота, от стеснения, медленно прокатилась по шее, так и осталась на плече; плечо покатое.

Изучают натуру пытливо и сумрачно три китайца. Рисуют.

Девушка, одетая и причесанная просто, из Сыктывкара приехала, смотрит как бы вскользь, а рисует старательно, медленно.

Юноша с бородой устало смотрит в окошко.

Черноволосый южанин рисует с некоторой лихорадочностью.

Рисуют девушки, причесанные гладко. Девушки, взбившие себе волосы, как одуванчики...

Рисуют юноши.

Рисует Майка.

Она вглядывается в натурщицу, но на листе бумаги у нее получается другое. Она видит сейчас парня. У него длинные брови, приподняты уголки рта. Это — признак упрямства, пытливости в жизни и детской непоседливости.

Майка рисует Пашу Францева. Он стоит тонкий, стремительный и сильный, как лодка-скиф. Оперся на весла.

К Майке подходит преподаватель, длинноволосый человек с выпуклыми, темнеющими веками. Он некоторое время молча глядит на Майкину работу.

Майка смущена, что-то такое штрихует.

— Меньше эмоций, меньше эмоций, Копылова, — говорит преподаватель. — Больше анатомической целесообразности. Вы хотите выразить прежде всего не модель, а свое отношение к модели. Не торопитесь, Копылова! Ограничьте себя академической целью. Вот, прошу вас, модель. — Преподаватель приглашает Майку взглянуть на натурщицу.

Натурщица не меняет позы, только губы облизывает.

— Я не могу себя больше ограничивать, Никодим Эрастович, — говорит Майка и смотрит на свой рисунок.

Паша плывет, лицо запрокидывает. Ему очень трудно держаться, он вытягивает подбородок, а вода уже всё равно у самых губ, и надо стискивать губы, чтобы не глотнуть эту пахнущую нефтью пресную воду.

Плывет Широков. Ногу судорогой свело. Поджал ее к животу, массирует. Посмотрел назад, а Паши нет вовсе. Пустое море. Рванул саженками к тому месту, где только вот виднелась его голова. Успел хватить за свитер. Вытянул на поверхность.

Глаза у Паши раскрыты, но уже не видят. Руками шарит, мертво вцепился Широкову в рукав.



Широков замахнулся и сильно ткнул Пашу в лицо. Тот дернулся и будто ожил. Посмотрел. Распустил хватку. Опять пошел вниз.

— Эй, парень! — кричит Широков. — Держись, гад! Держись за мое плечо и работай ногами!

Францев глядит прямо, близко в глаза Широкову и молчит.

Но кладет руки на плечи чемпиону. Тот взваливает его к себе на спину. Плышет. Опять судорога...

Стоит у ограды гребного клуба трехколесный Пашин мотороллер: «рыба». Пристроилась к нему широковская «Волга». Пустынно на Крестовском острове. Не видать ни души.

Бригада Пушкаря моется после смены. В одной душевой кабине Пушкарь и Олег Холодов, в другой, рядышком, Севочка Лакшин с Володей Рубиным. Самих-то не видать за переборками, только босые ноги в нижнем проеме.

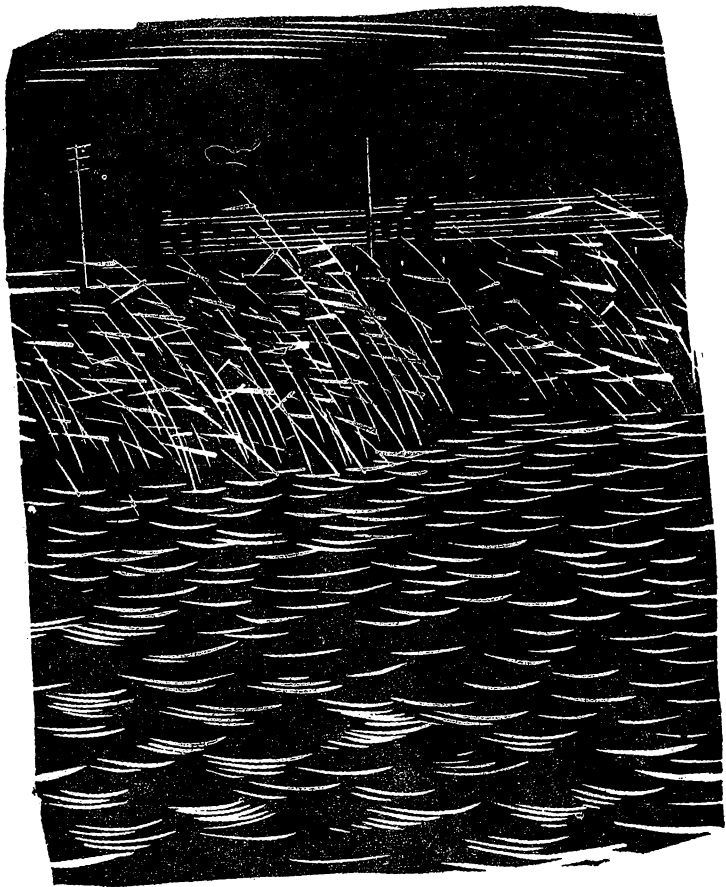
— Олег, тебе с бригадиром не тесно? — Голос Севочкин. — Пушкарь худо-бедно пузо накопил...

— Ты бригадиру спинку потри! — Это Володя Рубин.

— Пятки почеси! — Севочка...

В бригадирской кабинке молчок. Только хлюпанье и фырчанье воды, да радостное кряхтенье.

— Я сегодня во сне Пашу видел, — сообщает Рубин. — Утром хотел рассказать, да сел письмо дописывать, вчера начато было... Будто у нас в цехе



кран, такой, как в литейном. А Пашка к нам с крана на парашюте прыгает, понял? Парашют отцепил — и сразу к Пушкарю... Я, говорит, вас награждаю за третье место по гребле утешительным призом. А сам достал из-за пазухи кошку... Черная такая, с белым... Приложил кошку к груди Пушкарю, она так и прицепилась.

— Ха-ха-ха! — Уже воды не слышать, токарям весело.

— Ребятишки! — кричит Севочка. — Давайте Пашке темную сделаем. Этому рыбаку... Шины на его мотороллере все проколем... Или посадим в его сундук нашей вахтерши кошку. Она там его рыбку пофарширует. Хватит Пашке рыбачить!

— А ты кому письмо-то, Рубин, писал? — Серьезный голос бригадира... — Ты чего от бригады скрываешь?..

— Я женюсь послезавтра, — говорит Рубин. — Как раз в субботу ходили в загс, теперь у меня испытательный срок, а послезавтра — всё... Амба!

— Вовочка женится!

— От дает!

— На ком?

— Кому такое счастье привалило?

Опять не слышно воды. Смеются ребята. Только у жениха голос как всегда ровный, чуть хриповатый:

— Когда Пашку в газету вывесили, я ходил смотреть. Мне там на фотокарточке понравилась Раиса Иванова. Да? Стихи тоже: «Мы говорим тебе сурово, понял? Не будь стилигой, Иванова». Я в тот же вечер в «Уран» на танцы. Да? У меня

там дружинники ребята все знакомые. Попросил их, чтобы показали, если что... Две девочки пришли, похожие на фотографию... Одна оказалась Кольшкина, другая литовка, Уркимайте или как-то так... Три недели она ни разу не пришла. А как пришла, я сразу почувствовал, что она... Биотоки сыграли свою роль, понял? Да? Я к ней — «разрешите вас!» А она: «Я не танцую». Я ей сразу свое удостоверение дружинника — раз! «Прошу пройти со мной». И увел ее с танцев. «Вас, говорю, вызывают в штаб»... Взял такси и привез ее в кафе «Буратино»...

— Качать жениха! — кричит Севочка Лакшин.

— Качать!

Вся бригада уже в одной кабине. Четыре пары ног топчутся вперемешку.

Плывут Широков и Францев. Паша уткнулся носом в затылок Широкову, будто спит. А затылок всё ниже, ниже... Сейчас скроется под водой... Скрылся.

Францев макнул лицо в море, прынул в сторону от Широкова. Тот вынырнул. Хотел на дно встать, нет больше сил тащить Пашу. Дна не достал.

Паша весь в брызгах. Лупит по воде.

— Ты плыви! — кричит он. — Ты олимпийский... Ты еще будешь... Тебе нельзя утонуть... Я сам. Я рабочий. Я — токарь седьмого разряда... Я сам...

Широков держит Пашу, тянет его к себе...

— Я тебя убью! — грозитя он с ненавистью. — Ты держись за меня, сволочь, или я тебя покалечу!

Широков выгребает и злобится всё больше. Это в нем оживает прежняя, сработавшаяся за годы ярость победителя.

— Я вас всех... — шепчет Широков. — Я вас всех...

— Ты плыви, — говорит Францев, — я сам...

Широков уже не слышит его. Он опять глотнул воды. И вдруг достал дно. Он толкнулся о дно двумя ногами, выскочил из воды, упал на воду, опять выскочил...

— Живые!

...Широков волочит за собой Пашу. По мелководу. По болоту. По камышам. Он рвется к сухому, надежному берегу и задыхается и скрипит зубами и плачет: «Я вас всех...»

Они сидят на асфальте Приморской шоссейки. Широков поджал ноги. Паша прислонился к нему спиной. Ноги у Паши раскинуты, как неживые.

— ...А я плыл, знаешь, думал, уже не буду заниматься греблей... — Паша говорит тихо, ровно, и в голосе его еще как бы слышится скрип. — Я ведь это так только себя гонял, каждый день на одиночке по двадцать километров проходил, чтобы тебя победить. А зачем мне тебя побеждать? Я рабочий. Я и с завода ушел из-за гребли. Готов был

по суткам из лодки не выходить... Сейчас плыл и понял... Если выплывем, думал, я сразу же на завод вернусь. К ребятам.

— Мы с тобой в парной двойке будем весной работать, — говорит Широков. — Мы их еще всех уделаем... У тебя есть гребок, ритм ты чувствуешь...

— Я бы без тебя утонул, — говорит Паша, — ты сильнее меня в два раза, а я плыву, и мне всё равно. Зачем мне за тобой гоняться? Я буду на заводе работать. В бригаде у Пушкаря. Ты мою девушку увез на «Волге». Я хотел с тобой рассчитаться, а когда плыл, понял, что всё это ни к чему.

— Это такую, что в голубеньких брюках? Это что, твоя девушка?

— Она не моя девушка. Я рабочий. А ты олимпийский чемпион. Ей хочется с чемпионом. Я бы, наверно, мог тебя победить, а теперь всё равно. Это всё не мое. Другое...

— Я с твоей девушкой ничего не имел. Мало ли кого я мог в машине подвезти? Ты ничего такого об этом не думай.

— Я об этой девушке слишком хорошо думал... Надо было иначе думать. А иначе я не мог.

Накатывает шкодовский грузовик. Широков стоит на шоссе с поднятой рукой. Издалека слышно, как притормаживает машина.

Широков с одной стороны, шофер с другой приобняли Пашу, сажают его в кабину.

«Шкода» пахнула синим дымом, пошла в ту сто-

рону, где над низкорослым издалека Ленинградом виден большой гриб Исаакья.

В калитке гребного клуба стоит Майка. Она видит всё разом: и грузовик «Шкоду» и «Волгу», и мотороллер, и олимпийского чемпиона Широкова, и перемазанный болотной слизью его костюм. Она видит Пашу Францева. Она понимает, что Паша в беде. Она еще не знает, как помочь ему, а только смотрит, как вылезает он из кабины, и в глазах у нее любовь, и готовность помочь, и даже радость самопожертвования. Она, как всякая женщина, хочет послужить своему любимому.

Паша через плечо Широкова смотрит на Майку. Она идет к нему и говорит:

— Павлуша... Павлушенька... Тебе больно, да? Ты мог утонуть, да? Тебе нужно скорее переодеться...

— Меня спас вот, Роман... — Францев опирается на плечо Широкова. — На воде он меня сильнее. А на суше неизвестно... — Паша улыбается.

— Ты сильнее всех на суше, — говорит Майка серьезно.

— Ну, корешки, — шофер машет рукой из высокой шкодовской кабины, — вам теперь надо тпнуть по сто пятьдесят для согревания двигателей, а я поехал получать медаль «За спасение утопающих». Будьте живы!

«Шкода» пятится.

Паша и Майка стоят друг против друга. Майка говорит быстро и строго:

— Я тебя люблю, Павлуша. Я очень, очень перед тобой виновата. Я тебя очень сильно люблю. Я тогда еще не знала, что могу так любить.

Паша берет Майкино лицо в свои ладони, приближает его к себе и говорит своим новым, тихим голосом:

— Когда я сегодня хлебнул воды, а Широков тащил меня на спине, я думал про тебя, а еще про ребят и про свой цех. Я уже по сути дела был утопленник, всё, всё утонуло, только это и осталось. А смерти я так и не испугался. Я ее не почувствовал. Не поверил. Только про тебя думал и про ребят.

Майка ткнулась Паше в плечо. Плачет.

— Мало сырости, да? Еще нужно промокнуть? Идем переодеваться. — Широков открыл дверцу машины, ждет.

Майка помогает Паше идти.

...Вот уже все трое в машине.

— Ко мне сейчас поедем на квартиру, — говорит Широков, — у меня ванну примешь, как раз по пути, на Загородном бутылку возьмем. Нужно согреться.

— Нет, — говорит Паша, — бутылку мы возьмем и поедем в общежитие к ребятам. У них как раз смена кончилась. Знаешь, какие это ребята? Вот Майка знает.

Мотоцикл ЯВА загнан в кусты, но всё же виден с дороги.

Идет дед с топором за поясом, с лесниковской



бляхой на робе. Вот он заметил мотоцикл и крадется. Им руководит служебная рьяность, а может быть, это старческое любопытство.

Дед оглядывает мотоцикл, раздвигает ветки, идет дальше по лесу. Он останавливается под елкой и смотрит. Глаза у него голубенькие, дальнорзоркие, от старости замутились слезой.

Он видит парня и девушку. Они стоят над рыжей от солнца речкой, держатся за руки.

Дед выходит к ним и наказывает сурово:

— Костер разводить будете — чтобы погасили! У меня тут пятнадцать кварталов у обходе. Усякий теперь у лес норовить. Кто костер запалить, а кто так побалуеть. Дело молодое, кто мотоцикл покупает, а у кого средств нет, тот пеший топает... А мне лесоохрану нести...

— Неси, неси, дед, — говорит Паша Францев. Это он привез Майку в лес.

— Вы не бойтесь, дедушка, — говорит Майка, — мы ничего плохого не сделаем вашему лесу.

Дед удаляется, бурчит.

Паша и Майка подходят близко к воде. Они видят себя в речке. Их несет, несет течение...

— Тебя можно звать Павлуша, — говорит Майка, — Павлуха, Павлинька, Пашуня, Паха.

— Вот смотри, — говорит Францев, — сейчас я перемешаю наши портреты, и уже не отличить будет, где ты, где я. Один коктейль получится.

Он подымает палку и кидает ее в речку, в то место, где зыбятся на воде два лица. От всплеска лица колышутся и, правда, мешаются, будто один человек.

— Я тебя нарисовала, — говорит Майка, — потом тебе подарю.

— Ты приходи к нам как-нибудь в цех. наших ребят порадуешь. Знаешь, какой Пушкарь у станка? Это просто монументальная личность.

— Ты самая монументальная личность, Пашка, ты на своем мотоцикле сидишь, как Медный всадник на коне.

...Францев несет Майку по берегу.

Он смотрит ей в лицо, и она смотрит на него снизу вверх.

— Майка, — говорит Францев, — сейчас я тебя понесу через реку.

— Неси меня, Паха, куда хочешь.

Францев ступает в речку, и вода начинает урчать. Майка закрыла глаза.

— Паша, это широкая речка?

— Как ты хочешь. Всё будет, как ты хочешь.

— А этот лес большой?

— Он не кончится, пока ты не захочешь.

— В лесу надо быть осторожным с огнем. А я не умею.

...Они стоят над костерком. Паша босой, в трусиках, вздернул над огнем брючки. Сушить надо после брода.

— Я на тебя смотрю как на спасителя, — говорит Майка, — будто я совсем потонула, а ты меня долго-долго спасал.

— Знаешь, Широков мне предлагает вместе с ним в двойке тренироваться... Мой спаситель... Не хочу...

— Он, наверное, сам жутко рад, что ему уда-

лось тебя вытащить из моря. Ты его не бросай, Паша. Его тоже надо спасать. Ты с ним тренируйся в двойке.

— Ну-ка давай через костер попрыгаем, — предлагает Францев.

Они прыгают через костер. Они обнимаются и опять прыгают. Так долго-долго, несязаемое, идет время.

*Несколько мыслей о литературе,  
о физике, о расстояниях  
и о Тихом океане*

## Новое начинать

**В**получасе лёта до Хабаровска, когда уже зарозовело табло: «Но смоукинг», наш самолет вдруг задрал правое крыло, и плоский бок планеты послушно вздыбился, сначала покато, потом круто, отвесно... Мы повернули вспять от Хабаровска, и погасло табло, и стало вдруг в стратосфере обидно и холодно, как у дверей субботнего ресторана с дощечкой: «Свободных мест нет». Хабаровск нас не принял: погода.

Сели мы на не ведомую никому гладь посреди Сибири. Девушки в синих пилотках, в синих аэрофлотских френчиках пробежали цугом к дюралевой самолетной дверце. Они раскрыли дверцу и охнули:

— О-ой! Высоко-то как! Э-эй! Тра-ап давайте!

Но трап никто не мог подать, потому что тут ни разу не садились пассажирские машины. ТУ-104 хоть сел и теперь прочно опирался на лапчатое шасси — кабина с пассажирами осталась в поднебесье, и спрыгнуть вниз не мог ни командир корабля, на-

летавший два миллиона километров, ни стюардессы — сибирячки, ни дальневосточники: помбуры или, скажем, тралмастера, потратившие свои отпуска и северные денежные надбавки разумно, на юге и западе. На материке.

Одни пассажиры роптали. Другие как бы радовались посрамлению могучей техники: самолет, а тоже попался впросак. Вроде человека.

Уже остыли стенки самолета и пол, когда вдруг внизу послышался смех и звяк работы и сильные мужские голоса. Потом — сапоги по лестнице, толкнули снаружи дверцу, всем в кабине стал виден солдат. Глаза его были быстры и жадны, а в лице только кровь и солнце — тугая смуглота. Солдат шагнул внутрь самолета, за ним, теснясь, другие солдаты. Меж кресел они сделались почтительно-робки, но в то же время и хозяйски-небрежны — от своей силы, от апрельской свежести и мужского единства. Пахнуло весной, табаком, дегтем и смазанным металлом оружия.

Одни скоро и ловко облазили самолет, другие сразу же подступили к аэрофлотским девушкам. Солдаты говорили и глядели на стюардесс со всей своей коллективной, армейской бойкостью, с индивидуальной застенчивостью и надеждой. Стюардессы были сибирячки. Солдаты звали их в диспетчерскую. Они сулили девушкам магнитофон и ужин. Девушки согласились без жеманства.

Осталась в самолете только одна стюардесса Зинаида Ивановна. Молодая, но звать ее лучше по имени-отчеству, потому что глаза у нее мягкие, как у добрых людей. Доброта до старости не стареет и

смолоду мудра. Глянешь в такие глаза — будто хорошую родню встретил: ни зла, ни обмана.

Я вышел вслед за солдатами и не видал, как одному из них удалось выделиться из общего грохотанья сапогами, остаться вместе с Зинаидой Ивановной.

Спустился по лесенке на бетонку, стал рассказывать. Вокруг быстро опустело, остался только наш ТУ-104. Я смотрел на него, но не мог думать о нем как о работающей машине. Самолет был совершенен, прекрасен и как бы жил отдельно, не зависел от щербатых бетонных плит, от курящихся фургонов — жилья людей, от не дотянувшейся до фюзеляжа лестнички на колесиках. Самолет был похож на царя-лосося, будто невиданная серебряная рыба зашла из мировых океанов в мелкое устье нерестовой речки.

Сразу за кромкой взлетной полосы начинался снег, розовый на вечернем солнце. Незапятнанный, снег уходил на все стороны горизонта. Было так тихо, словно вся тишина сибирских пространств накатила и огрузла здесь. Я видел Сибирь сверху, а теперь чувствовал ухом ее тугую тишину. Я думал, что никогда уже больше не буду пить водку и терять дни в тоске по несовершенному. Потому что нет лучше моей работы, моего севера, востока, моего юга, моей Сибири. Ведь можно летать или ходить по Земле, по стране, по планете... Самолеты устанут, утихнут, — и вдруг запахнет мартовским снегом.

Когда я вернулся в самолет, солдат и Зинаида Ивановна сидели на крайних креслах в углу. Я сел

не очень близко от них, чтобы не помешать, но, в общем, не так уж и далеко. Они замолчали, потом привыкли ко мне. Заговорил солдат, видать, фразу он начал до моего прихода:

— Ну, конечно, колеблешься: прыгать—не прыгать. Стоишь с парашютом, желтая лампочка зажигается: приготовиться! Зеленая — прыгать! Сгруппируешься весь около дверей. Боже мой. Летить — только земля и небо. Небо синее, а земля черная.

Зинаида Ивановна прошептала, будто вздохнула, горестно, но в то же время и похвалилась:

— Я третий год летаю.

— Вам хорошо, пока одна. Ведь жизнь не гарантирована, а если у вас будут дети? — В голосе, в словах солдата, кроме участия и высшего, мужского, военного знания, был еще как бы особый, помимо всех слов, важный вопрос.

— Тогда я уже не буду летать, — сказала Зинаида Ивановна как о давно решенном, завтрашнем деле.

Солдата будто насторожил такой ее ответ. Он помолчал. Но потерять простоту этой ночи в тихом самолете, эту доверившуюся ему добрую девушку, вдруг слетевшую с неба, он не мог.

— Боже мой, — сказал солдат, — знаете, что такое военная служба? Уже три года... Это так только в кино ее изображают красочно. Я гражданку совсем не знаю. Домой возвращаться не буду. Что это — с родителями жить? Новое всё надо начинать.

«Новое начинать»... Я не стал дальше слушать

солдата и стюардессу. Я сказал себе: «Надо новое начинать!» И вдруг обрадовался, как возможности любимой работы, как свободной от денежных забот осени.

Я не написал еще ничего о солдате, о моем брате по самолету. Он служит три года в Сибири. Ему плохо без девушки. Ему славно в хозяйском владении своей судьбой. Как он добудет себе счастье?

Я не написал о дальневосточниках: о помбурах о тралмастерах.

Разве этого мало для меня, для моей работы?

Надо всё новое начинать. В творчестве нет повторения. Продолжение творчества — это тоже начало. Только начало...

...Уже турбины ревели, и вспыхнул свет, и ожили закоченевшие помбуры, и заплакали грудные дети. Никто не заметил в радости и суматохе взлета, как исчез солдат.

Девушки дали каждому по конфетке, каждый пристегнул себя ремнем к стулу. ТУ-104 взлетел в небо, чтобы никогда уже больше не коснуться никому не ведомой бетонки в самой середине Сибири.

## **Паустовский**

Мне очень хочется написать: «В Крыму цвел миндаль». Это так прекрасно. И конечно же, «пахло чебрецом». Мне нравится слово «бересклет». Это колючее слово и хрусткое, у него черствые листья



и выбеленные большим солнцем веточки. Я не знаю, где кончается слово и начинается дерево бересклет.

Может быть, я видел это дерево и даже в книжечку себе записал. И чебрец тоже и миндаль. Но моя жизнь идет вместе с другими деревьями, и когда я говорю: «цвел миндаль» — это розово и сладко, и очень далеко от меня, и бесполезно листать записную книжечку.

Я хочу в Крым. Миллионы людей хотят в Крым. Едет только маленькая часть этих миллионов. Можно бы поехать и остальным. Деньги есть и отпуска... Не едут. А если едут — сразу же возвращаются. Можно еще пожить в Крыму. Нет. Не живут.

Я, в общем, тоже могу поехать в Крым. Но я теперь на Сахалине. Вот выйду сейчас из дому, перепрыгну всего-то две мочёжины — и уже сопки. Белокопытник растет. Желтая булава в изысканном лайковом коконе. Болотное лягушачье диво.

Завтра мне плыть на траулере к берегам Аляски. В залив Бристоль. Там морского окуня ловят. Я корреспондент. Сахалинские рыбаки взяли нынче хорошую рыбу.

У каждого свои причины не ехать в Крым.

В Крыму цветет абрикос. Море встает над теплым берегом, будто салют, будто ракеты. Гроздь моря несет ветром косо и бело и гасит на южном шершавом асфальте.

Там бывает счастливо жить весной, когда еще не в полную нагрузку работают весы для отдыхающих на набережной, когда еще бедно море, и чайки летят к парашету за кормом, когда бока у сосен

над Ялтой тронуты первой солнечной пылью. Это бывает немного страшно: ведь не вместить... Ведь вырос я в городе, где все улицы прямые, а за городом речки-смиреницы, обабки в траве. Это — мое. Моя рябина, мои дожди, мой Невский проспект. Моя жизнь.

...Я плыл однажды по Черному морю на прогулочном катере. Сидел в корме. Волна с легкостью подымала корму и скидывала по своей склизкой крутизне. Динамик кричал мне ненужную песенку. Я дышал солью, рыбой, водорослью, донной стужей и маленьким теплом поверхности моря. Я был счастлив этим днем моей жизни, и качкой, и дымчатым, синим берегом Крыма.

«Какое это благо — Крым! — думал я. — Как повезло всем людям, что у них есть Крым».

Но чувствовать за всех я не мог, а вместить в себя радость моря и неба и юга мне не позволяло сознание малости моих заслуг в мире. В счастье этого дня для меня также было чувство потери.

Я вдруг увидел снег и протаявший мох, и лыжню, как она песчано и вкусно шурстит и лоснится, лыжи стучат по ледышкам и кореньям, и кристаллики солнца по насту... Это моя лыжня. Моя весна. А меня вот катают на катере.

Я сидел на беленом диванчике в корме и читал Паустовского: «Мимолетный Париж». Там было написано, как живут люди свои годы вместе с Парижем, с его Коммуной, с Эйфелевой башней и собором Нотр-Дам, с Виктором Гюго, с Антуаном Экзюпери и Ренуаром, и Монпарнасом. В Париж не каждый попадает: границы и визы, и деньги, и

служба. И всё же — вместе с Парижем. Как человечеству без него?

Паустовский приехал в Париж. Старый уже Паустовский. Присел на лавочку под каштаном. А может быть, даже и бересклет там есть. Кто знает толком, что растет на парижских бульварах? И занул старик Паустовский. Парижанка ему помогла. Он увидел парижанку и «серебристую дымку» над городом. Париж помогал ему всю жизнь писать красивые книги. Теперь он достиг Парижа, и легкий, душистый, бензинный парижский воздух касался его морщинистых щек.

Он вдруг затосковал по небойкой болотной речке Мге, по ольховым заберегам к сеянному, мытому песочку на косах. По своей речке. По своей жизни.

...Паустовский, его книги, его Черное море, его золотые линии и дождливые рассветы были с детства вместе со мной и в то же время далеко, как город Париж. Без них я, наверное, жил бы не так хорошо, как я прожил свои двадцать восемь лет. То есть было бы всё точно так, как вышло в моей жизни, только я бы не знал, не увидел, как много для человека красоты и добра в каждом его дне. А тем, кто не знает, не верит, — несноснее подыматься после обид и легче жить в нечестности.

...Первый раз я увидел Паустовского за ужином в столовой писательского Дома творчества. Он был маленького роста, горбонос, с хриплым голосом. Мой Паустовский, далекий, как Париж, жил в большом утреннем мире своих книг. Он был высок, широкогруд и спокойно прекрасен. Этот подымался

по лестнице, стоял на каждой ступеньке, пережил свою астму.

Но он был Паустовский. Я очень старательно не глядел на него. Он всё говорил и улыбался. Люди сидели с ним за столом и пили нарзан и глотали еду с несъедобным названием: «профитроли». Люди были спокойны, говорливы и прожорливы. Кто они такие?

Я скоро привык к новому для меня Паустовскому. Его книги теперь показались мне ближе. Ведь их красота, восхищенность добром на земле и тихое сияние слов были для этого человека маленького роста не даром природы, а только работой ума и сердца.

Только работой. Человек работал, чтобы людям было лучше, шире и чище, чтобы они поверили счастью жить. И вот состарился за этой работой.

Я думал о градусе благородства. «Благородство, — думал я, — это вера в людей, а значит, в себя — человека. Как повысить градус благородства? Кем был для меня Паустовский? Как привел он меня в лес и к Черному морю, к радости простого братского общения с миром?»

Я всё же решился подойти к Паустовскому. Я сказал ему, пришепывая и потев от смущения: «Константин Георгиевич, я вам хочу подарить свою книжку». Он как раз стоял и переживал астму. Я делал в это время очень много ненужных движений руками и губами. И кажется, написал на титуле моей книжки много ненужных дарственных слов. Паустовский сказал: «Да, да, я очень рад». И стал листать мою книжку. А я убежал.

Был вечер. Ялта ударила по мне чернотой и морем. Огни внизу стеклянно, остро твердели и вдруг расплывались. И цвел миндаль. И черт его знает, что там было в ту ночь.

Я бежал до самого моря, а обратно шел медленно, чтобы Паустовский успел заснуть, чтобы не замутить словами того, что случилось со мной в Ялте.

Я очень хочу написать книгу, чтобы она была как надежда на поездку в Крым для северного сахалинца, как дверь из одного дня, из одной квартиры в миллионнодневный, омытый океанами, одаренный гением и счастьем жизни мир людей.

## **Томас Манн**

В хабаровском кинотеатре «Гигант» идет японский фильм «Голый остров». Мужчина понуро щупает ногами тропу. Он несет на коромысле две бадейки с водой. К своему огороду, на сопку. Женщина щупает тропу деревянными подметками. Ей тяжелее, чем мужу. У нее на коромысле такие же бадейки. Люди идут в сопку, как олени под вьюком на сахалинской мари. У оленей мутнеют глаза в тоске своей безысходной работы.

Люди добывают себе корм. У них нет времени научиться ничему другому. Об этом фильм. Музыка будто утренняя река в горах: в ней звучит бесконечность силы жизни и грусть навечно проложенного русла. Грусть всегда звучит красиво. Да еще океан дышит. Да глаза мальчика: он не знает

закона, по которому живут взрослые люди, он готов к радости и всё ждет ее. Где же она?

В Хабаровске лето. Дома здесь новы, белы и высоки. Тополя одаряют город летучим пухом. Хабаровские юноши купили себе белые рубашки, покрасили их в цвет желтка: мода. У них мускулы дай боже. В скулах и подбородках — литая определенность. Дальневосточники.

Им не нравится фильм «Голый остров». Вначале они смеются. Веселые, крепкие парни. Они пришли в кино с подружками, в субботний вечер после недели работы, после пляжа, после летней амурской воды, после пива на дебаркадере. Они глядят на экран и обижаются. Обиду хабаровчане не спускают никому. Хлопнуло, как мишень в тире, одно кресло. Другое. Залп хлопков. Дробная трескотня по ряду...

На широком экране женщина несет бадейки. Мужчина несет бадейки.

— Одну и ту же часть крутят!

— Механики пьяные!

— Сапожники!

Парни оскорблены. Сегодня кино для них должно быть как третье блюдо в субботнем ужине. Они заказали себе на третье сладкое мороженое и вино. Им подали краюху хлеба.

Крутится кинолента: чужая жизнь, чужое горе. Экран не задает загадок, не завлекает фокусами, не дразнит несбыточной женской красотой. Там только работа людей, их боль, смерть, борьба за миску похлебки. За существование.

Нужно понять этих людей, эту их жизнь. Надо подумать. Значит, надо работать уму и чувству. А ведь билеты куплены в кино для удовольствия. Сотни картин уже просмотрены — там есть и фокусы и соблазны. Там не надо работать уму. Всё равно что мороженым наслаждаться: и жевать-то его не нужно, само растает во рту.

Парни оскорблены. Они свищут. Им не нравится «Голый острок».

Обеденный перерыв на одном, средней величины, ленинградском заводе. В красном уголке механического цеха гоняют по заезженному сукну никелированные бильярдные шарики. Запивают кефиром французские, то бишь городские, булочки. Прикусывают колбасу. Поглядывают в меру насмешливо на меня: давай, трави баланду.

Сегодня в цехе встреча с писателем.

Меня не очень-то смущает обеденная ирония токарей и шлифовщиков. Я знаю: сейчас они медленнее задвигают челюстями, и бильярдисты сложат крест-накрест кии. Только говорить нужно с ними просто и правду, как с друзьями. Они много чего прочли и не раз меж собой потолковали. О Шолохове. О Евтушенко. О новом романе Юрия Германа «Один год». Вопросов полным-полно.

— Почему сейчас нет ни одного поэта как Пушкин или Лермонтов?

— Почему это так: Ажаев написал «Далеко от Москвы», а я там работал в войну. У Ажаева одно написано, а мне думается, там иначе было?

— Писателю зарплату платят или же сдельно?

Встает пожилой, неторопливый, широкоплечий мастерской. Таких в кино показывают, на плакатах рисуют — мудрых, добрых, в очках с металлической оправой. Только спецовка побольше замызгана, чем в кино бывает.

— Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос... Много сейчас говорят о современности. Что, значит, литература должна точно отображать нашу жизнь. А мы вот постоим семь часов за станком, придем домой, возьмем за книжку, а про то же самое, то есть что-нибудь такое производственное, читать неохота. И так уже сыты. Берешь о шпионах или фантастику.

Отвечал я на этот вопрос длинно и правильно. Все отвечают длинно, когда нужно не только вопрошающего убедить, но еще и себя успокоить. Можно было, конечно, ответить коротко, то есть назвать вполне прекрасные книги. Я их назвал, но знал, что мало сообщить названья, что полюбить эти книги, с пользой и радостью владеть ими нельзя без труда, без затраты ума и чувства.

А если человек принял критическую дозу книг, вполне современных, с повесткой дня не шире очередного профсоюзного собрания? Да еще о шпионах начитался? Откуда же у него доверие и готовность к самоотдаче?

Можно быть мастером «золотые руки» на производстве, но читать только книжки из серии приключений, следить за комбинационной сюжетной борьбой, как за матчем: помахать руками возле чужой драчки и позабыть.



Есть книги, в которые входишь, как в ответственную командировку. Пострадаешь от близости и недостижимости желанного, от сложности человеческих усилий и судеб. Почувствуешь твердость на земле от своей усталости, от сознания родства с людьми, с их работой. Удивишься огромности и вечности мира. Станешь счастливым.

«Даже и любовь есть труд, даже и любви надобно учиться». Это написал Федор Михайлович Достоевский в «Дневнике писателя».

В работе, в утомленности ума и чувства можно изведать любовь к миру. Настоящие книги рождаются только в этой любви.

«...Чудаковое слово, красота! Вот мы встанем на этом месте, на берегу, где старики сидят... видишь? Будем строить большой завод, каких праведники твои в видениях не имели. На том заводе станем мы делать целлюлозу из простой ели, которая вот она, пропасть, без дела стоит. Из нее станут люди бумагу делать — для науки, пороха, чтобы отбиваться от врагов, — и многое другое на потребу живым, а между прочим и шелк». Так поучал герой леоновского романа Узадьев смущенного умом скитского инока Геласия на берегу реки Соть.

Соть — литературная речка. В географии у нее сестренка-двойняшка Сясь. Над Сясю в чистой голубизне — застойный, черный дым целлюлозного комбината. Ночью в звездных потемках небо отблескивает, как уголь в разломе, и комбинатский

дым кажется белым. С Ладоги наносит ветром мягкую свежесть летней озерной воды. От комбината плывет по воздуху сладенький запах сернистого газа.

Сясьскому целлюлозному тридцать лет. Сколько сработано красоты человеческой жизни за эти годы непрерывных трудов? Не той красоты, что запечатлена в гипсе, оснащена лосиными рогами, веслами и мячами и установлена в палисадниках...

Каковы отношения с искусством у жителей поселка Сясьстрой?

Вот я иду в книжный магазин и записываю себе в блокнот активнейших книголюбителей, «полных» подписчиков. Здесь же, рядом, от магазина видать, лесобиржа. Елки в ошметках коры плавают по Валгоме-речке. Это — исток книжного дела. А вот конечный результат: многоцветье обложек, суперов, переплетов...

Люди служат книжному делу. Потом покупают книги. Чего они ждут от книг? Что им дают книги?

Виктор Ефремов. Электросварщик кислотного цеха. Он подписался на собрание сочинений Чехова, Тарле, Толстого, Лескова, Томаса Манна.

...В кислотный цех не пробиться ладожскому ветру. Здесь сернистый газ, груды колчедана, известняка: чадное пекло. Люди в противогазных масках. Нет, братцы, листы бумаги, что мы заправляем в наши «Оптимы» и «Эрики», не произрастают на стеблях лотоса.

— У нас на заводе, — сказал мне Виктор, — никогда еще столько инженеров не было, как сейчас.

Каждый третий, считай, инженер или техник. Я тоже собирался в заочный подавать. А потом подумал: кому-то надо сварку вести. Если, допустим, печь выйдет из строя... Конечно, когда учишься, это тебя подымает. А то, знаете, одно, другое... Дрова надо на зиму запасать, дочка растёт, у нее уже своя библиотечка, комната мала становится. В зарплату не уложиться, жена пилит... Представляете, как это всё... До полного изобилия мы пока что еще не дошли. А когда хорошая книжка есть — жить можно. Уже как-то всё по-другому видишь. И людей, кажется, лучше понимаешь, и красоту... Я Гете люблю. Давно им интересуюсь. Вот сейчас читаю «Лотту в Веймаре». Нелегко читается, но мне это важно, мне нравится подумать над книгой, не сразу раскусить, поработать мозгами. Кажется, два брата немца, Генрих Манн и Томас Манн. Генрих туману напустит, а внутри ничего особенного нет. А Томас иначе работает. Это серьезный писатель.

Виктор Ефремов — серьезный человек. Работа у него тяжелая и грязная, квартира в комбинатском бараке мала, а мир его мыслей просторен и свеж, как Ладожское озеро. Виктор учится понимать искусство, то есть жить не только своим сегодняшним днем и заботой, а чувствовать, страдать и ликовать вместе с миром. Со всеми людьми.

Конечно, это не значит, что всем сысьстроевцам скопом следует засесть за «Лотту в Веймаре». Но зачем рубить елки и переделывать их на книжки, если книжкам этим не под силу поднять человека до красоты мышления?

Семь лет тому назад я сильно страдал от того, что еще не сочинил ни одной повести, ни одного рассказа и ни одного стиха. Это было очень странно, потому что я всякое утро брал авторучку и, как старые фотографии, перебирал в памяти всё, что было. Мне определенно казалось, что писать есть о чем. Но всё, что было, — было со мной, и отделить себя от этого и отдать это другим, придуманным мной людям, я не умел. Я хотел писать повесть, но получался дневник. А дневников скопилось уже изрядная стопка в левом ящике стола. Прочсть их кому-нибудь было нельзя: стыдно.

Как-то раз в тонком журнале мне попался цветной снимок: сидит Пришвин на пне, а кругом — большой лес. В руках Пришвин держит записную книжечку. Нигде не видать антенн, телевизоров, нет полок с книжными корешками, нет пишущих машинок. Сидит старичок и слушает, что ему шепчет лес, а может быть, наоборот, лес притих от уважения и внимания к старичку, а старичок еще умнее и старше самого леса, всё понимает и записывает в книжечку.

В подписи под снимком сказано, что это писатель Михаил Пришвин на своем рабочем месте.

Долго я разглядывал снимок. В комнате никого не было, только я, да Пришвин глядел на меня понимающе с глянцевого листа. И вдруг мне показалось, что он хочет сказать что-то очень важное для меня. Я сразу достал из шкафа пришвинский сборник и стал читать. Читал совсем по-новому, будто

в первый раз, и всё к себе примерял. Оказалось — многое для меня написано. В одной маленькой заметочке, всего-то в ней десяток строчек, — о молодых писателях. Дескать, вот жалуются молодые, что на первых порах хочется писать от своего имени, всё никак не отдать собственного своего, пережитого, чужим людям — «героям». И не надо, говорит Пришвин. Пишите от себя, если хочется. Это пройдет потом, а сперва неизбежно. Когда-нибудь, если не увянете, будут осаждать вас «герои», будут проситься жить, говорить, чувствовать. И тогда это будет легко и радостно — отдать им всё из своей жизненной копилки, дать им жизнь. Если такое время придет, это и будет писательская зрелость.

Я поверил автору «Корня жизни». Я с большим облегчением подумал, что повесть и рассказы можно подождать писать, и принялся с удовольствием и свободно излагать на бумаге события моей жизни. Мысли сразу пришли в согласие со строчками, строчки стали множиться легко и быстро.

Потом из этих самых строчек получилась моя первая книга.

«Натуральное богатство русского языка и речи так велико, что, не мудрствуя лукаво, сердцем слушая время, в тесном общении с простым человеком можно сделаться отличным писателем». Это я выписал из книги М. Пришвина «Дорога к другу».

Пришвинский сборник всегда лежит у меня на столе. Постоянно со мной томик Блока. Это как жи-

вая вода родника в душной дороге или посреди рабочего дня.

Но глотнешь студеной водицы — захочешь еще. Дозволишь себе — уже не оторвешься от ручья: в ручье всё чисто и вечно и лакомо, а из собственной работы невесть что получится.

Нужно «слушать сердцем время». Без этого нет работы, а только мление да изощрение словес.

...Первый великий художник — океан — бьет в берег; он скульптор, и график, и живописец, ему нужно выразить себя, воплотить в земном материале. Утром по улицам городов идет прилив рабочего люда, в предвечерье — отлив. Спокойная, гармоничная жизнь у леса и солнца. Извечно плавно движется время. Но всё же сегодня в этом ходе нельзя не слышать разрыв мелодии.

...Я живу на самом берегу Тихого океана, на восточном мысу Сахалина, в брошенном рыбацком поселке Остромысовка. По утрам, в шестом часу, я вижу, как посреди океана вырастает солнечный домик. В нем золотое ядрышко, а по крутым скатам стекают багряные космы. Я слышу сильноголовых сахалинских соловьев, а на столе у меня охапка жарко цветущих саранок. Я счастлив здесь каждому утру своей жизни и силе земной красоты.

Мне видно в окошко, как возле прибоя хрупают морскую капусту и королевских крабов, что выплеснуло море, два борова и бык Мишка из хозяйства лесника Солодова. Мирное, вечное бытие...

Но я вдруг вспоминаю о двух мегатонных бомбах. Американцы не смогли их зашвырнуть в космос, теперь бомбы бродят по дну Великого океана.

Океан уверен в своей вечности. Он запечатлел свою силу и многоцветность на береговых скалах.

Осенью лесник Иван заколет свиней, бык Мишка отъестся на природной благодати, можно будет его продать, а весной купить телку.

Будто всё прочно и щедро в мире.

Но убивают людей в Алжире. Убивают в Ираке. В Йемене. В Японии увеличены бюджетные ассигнования на противорадиационную защиту. Защищаться нужно не в грядущей войне — сегодня. В Америке строят огромные убежища. Строительство стоит денег. Когда, какой трезворасчетливый американец вкладывал монету в блеф? Если убежища построены — их надлежит пустить в эксплуатацию...

Художники мира ищут формулу для сложного сегодняшнего бытия. Сильным нужна формула уверенности, а следовательно действия. Слабейшие разрешают себе включить в эту формулу смерть.

Ведь это так просто согласиться со смертью и жить, освободив себя от обязанности строителя.

Человек, нарастивший хотя бы на полметра стену дома за свой рабочий день, идет со стройки к жене спокойно счастливый. Он весь — для жизни. Мы строим в нашей огромной стране коммунизм. Мы счастливы своим делом.

Мой товарищ, ученый-физик смонтировал у себя в комнате высокой чувствительности радиометр. Прибор доносит человеку о самой крохотной частичке смерти, пущенной людьми в атмосферу где-нибудь над пустыней Сахарой. Они еще ничтожно слабы, эти частички, но их мощь возрастает, и фи-

зическая аппаратура постепенно вытеснила из комнаты моего товарища книги. Он сидит как ночной сторож, дожидается пожара: первым в рельсину ударить.

Я говорю ему: «Ты читай Пришвина!» А он саркастически ухмыляется.

Я говорю ему: «Пришвина читай!..» А он мне: «Кому это надо в наш век про былинки да про зверюшек?»

...Ночные сторожа — необходимые люди в хозяйстве мира. Но они не спят по ночам, а на рассвете клюют носом. Они могут забыть в дремоте, как звенит в полдень ржаное поле, как победно хрустят рубли первой рабочей получки, как смеется женщина в солнце и брызгах посреди июльской речки. Забывши об этом, можно привыкнуть к пожару и воровству: профессия.

Когда я сажусь за пишущую машинку, мне необходим мой товарищ физик и его аппаратура.

Но я кладу под правую руку томик Пришвина, потому что нельзя положиться на память: вдруг потеряю хоть одну случившуюся со мной в жизни радость? Ведь обеднею. Чем тогда поделиться с людьми?



## СОДЕРЖАНИЕ

Шанхай	5
Всё об одном	18
Пресека	30
Лепяга	51
Подождите, дворники!	63
Синее око	73
Банальная история	82
Последний зверь	94
Пурсей . . .	101
Двое в скифе. Киноповесть	118
Градус благородства	205

**Глеб Александрович Горышин**

**„Синее око“**

*Редактор Т. Д. Зубкова*

*Художник-редактор О. И. Маслаков*

*Технический редактор В. А. Преснова*

*Корректор Р. Ю. Хесина*

Сдано в набор 22/II 1963 г. Подписано к печати 18/VI 1963 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Физ. печ. л. 7,13. Условн. печ. л. 9,70.  
Уч.-изд. л. 8,6. Тираж 65 000 экз. М-31210. Заказ № 292

Лениздат, Ленинград, Торговый пер., 3

Типография имени Володарского Лениздата, Фонтанки, 67

Цена 25 коп.